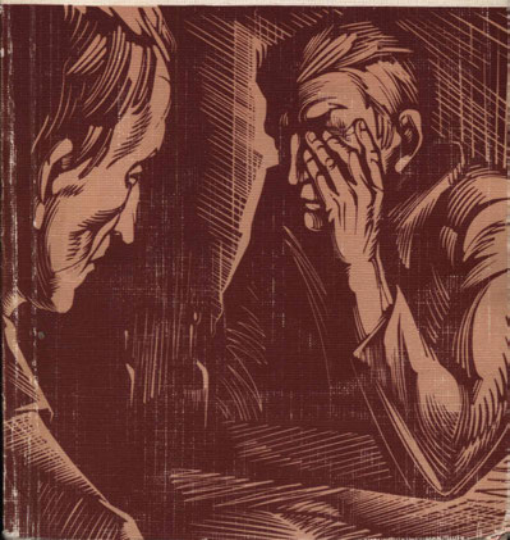


менная  
зарубежная  
повесть

ФИНН СЭБОРГ  
**СВОБОДНЫЙ ТОРГОВЕЦ**



Цена 85 коп.







**В СЕРИИ  
«СОВРЕМЕННАЯ  
ЗАРУБЕЖНАЯ  
ПОВЕСТЬ»**

*Вышли в свет:*

Ф. Бебей. Сын Агаты  
Модио (Камерун)

М. К. Вудворд. Земля  
Сахария (Куба)

А. Ла Гума. В конце  
сезона туманов (ЮАР)

Я. Сигурдардоттир.  
Песнь одного дня (Ислан-  
дия)

Г. Саэди. Страх (Иран)

Т. Недреос. В следу-  
ющее новолуние (Норве-  
гия)

Дж. Болдунн. Если  
Бийл-стрит могла бы заго-  
ворить (США)

*Готовятся к печати:*

Ш. Кайсар. Жена ло-  
дочника (Бангладеш)

М. Сюзини. Такой бы-  
ла наша любовь (Франция)

FINN SØEBORG

**DEN FRIE  
KØBMAND**

København 1972



ФИНН СЭБОРГ  
**СВОБОДНЫЙ ТОРГОВЕЦ**

перевод с датского



МОСКВА  
ПРОГРЕСС  
1977



Перевод *Т. А. Величко*  
Редактор *С. С. Белокриницкая*

В повести известного современного датского писателя на примере семьи мелкого лавочника Могенсена, разоряющегося в борьбе с крупным супермаркетом, с грустным юмором рисуется современная Дания, убожество духовной жизни ее «среднего класса».

© Перевод на русский язык «Прогресс», 1977

70304-634  
С            115-76  
006(01)-77

## КОРОТКО ОБ АВТОРЕ

Известный датский писатель Финн Сэборг (род. в 1916 г.) — автор многочисленных романов и новелл о буднях современной Дании. Герои его книг — обыкновенные люди, представители так называемых средних слоев общества, заботы и чаяния которых знакомы автору по собственному жизненному опыту — до 35 лет он был служащим в частных фирмах и государственных учреждениях.

Персонажи Сэборга — чиновники средней руки, конторские служащие, ремесленники, мелкие предприниматели, домашние хозяйки, пенсионеры, живущие в шумно разрекламированном лицемерной официальной пропагандой обществе «всеобщего благоденствия» и страдающие от неустроенности и одиночества, от скудости духовной жизни, от гнета налогообложения, от непрерывного роста цен и квартирной платы, от безработицы и наступления крупного капитала. В их ряду и герои повести «Свободный торговец» — мелкий лавочник Могенсен, безуспешно пытающийся конкурировать с крупным супермаркетом и стоящий на грани разорения, его жена, ищущая спасения от пустоты своего существования в иллюзорных радостях, и его сын Хенрик, мечущийся в поисках жизненного пути.

Произведения Ф. Сэборга многократно переиздавались в Дании, а также переводились на иностранные языки.





# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ





Каждый вторник в утренние часы можно звонить в радиостудию. Вообще радио, если пользоваться ученым языком, является средством односторонней связи, но по вторникам слушатели могут сами принять участие в процессе коммуникации. Они могут по телефону заказать музыкальную запись, которую им хочется послушать, а затем им предлагается ответить на вопрос ведущего, и кто сумеет дать правильный ответ, тот выигрывает любимую пластинку. Это способ активизировать радиослушателей, чтобы они не просто сидели дремали у приемника: в одно ухо вошло, из другого вышло. И хотя передача длится всего сорок пять минут и позвонить успевает не более десятка человек, все же это попытка претворить в жизнь установку Положения о радиовещании, гласящую, что передачи должны быть разносторонними и носить культурно-просветительный характер.

«Позвоните на радио» — так называется эта передача, и ведет ее Ельберг. Он славный человек, Ельберг, он относится к людям с симпатией и разговаривает с ними приветливо и просто, нисколько не важничая.

— Здравствуйте, здравствуйте, фру Есперсен,—говорит он.—Так вы из Нёвлинга, это ведь как будто недалеко от...

— От Ольборга,—подхватывает фру Есперсен,—это южнее, в десяти километрах.

— Да, да, верно,—говорит Ельберг, который впервые слышит о Нёвлинге,—как там сейчас погода под Орхусом?

— Под Орхусом?—повторяет фру Есперсен несколько обескураженно.—Это и есть то, что я должна отгадать?

— Ну нет,—смеется Ельберг,—так легко вы не отделаетесь. Нет, это я просто вообще интересуюсь, какая сейчас погода под Орхусом.

— Но я понятия не имею,—лепечет фру Есперсен,—у нас под Ольборгом...

— Да, да, как там у вас в Нёвлинге?

И фру Есперсен рассказывает о погоде в Нёвлинге. Она просит сыграть для нее «Старую мельницу», и Ельберг спрашивает, почему она выбрала эту вещь.

— Потому что она мне нравится.

— Ну а все-таки, чем она вам нравится?—не отстает Ельберг.

Фру Есперсен мнется, не зная, что ответить, но Ельберг все же как-то ухитряется поддерживать беседу. Он мастер разговаривать с людьми, и это его заслуга, что передача пользуется такой популярностью. Радиослушатели во всех уголках страны знают и любят Ельберга, и, как только начинается передача, телефоны в студии звонят не умолкая, но времени хватает самое большее человек на десять, и каждый вторник тысячи слушателей разочарованно вздыхают, так и не дозвонившись Ельбергу. В следующий вторник они снова и снова набирают его номер, и так некоторые лет по пять тщетно пытаются

прорваться к Ельбергу, а когда им вдруг повезет, они приходят в такое замешательство, что слова из себя выдавить не могут, и Ельбергу приходится пускать в ход все свое искусство, чтобы заставить их разговориться.

— Так вы, стало быть, домашняя хозяйка,—говорит он,—и что же вы сейчас делаете?

— Я разговариваю с вами.

— Ну да, конечно,—говорит Ельберг,—но перед этим-то вы, вероятно, чем-то занимались, пылесосили или...

— Я окна протираю,—сообщает фру Есперсен.

— Тоже нужное дело,—замечает Ельберг,—да, в домашнем хозяйстве хлопот не оберешься.

Самое страшное—это вопросы, они бывают довольно-таки заковыристые, а попасть впросак, ответить неправильно—приятного мало, ведь чуть не вся страна тебя слышит.

— Теперь, пожалуйста, слушайте внимательно,—говорит Ельберг,—я вам назову четырех представителей животного мира, а вы мне скажете, кто из них лишний в этом ряду. Итак, животные следующие: воробей, белка-летяга, жираф и летучая рыба.

— Как, как? Я не поняла.

И Ельберг еще раз терпеливо объясняет, в чем состоит задание, и снова перечисляет животных.

— Летучая рыба,—говорит фру Есперсен после долгих раздумий.

— Нет, ответ, к сожалению, неправильный, правильный ответ—жираф, потому что только он не летает.

— Жираф?—озадаченно переспрашивает фру Есперсен, до которой, по-видимому, так и не дошло, в чем же суть вопроса.

— Такая досада,— участливо говорит Ельберг,— ну ничего, зато мы сыграем для вас вашу любимую «Старую мельницу», всего вам хорошего и спасибо, что позвонили.

— Всего хорошего, господин Ельберг,— говорит фру Есперсен, и по ее рассеянному тону слышно, что она все еще пытается сообразить, что же там такое было с этим жирафом. Сомнительно, чтобы «Старая мельница» доставила ей большое удовольствие.

Ельберг огорчен, что слушательница не отгадала. Он славный человек и не любит расстраивать людей, ну и опять-таки, если неправильных ответов окажется слишком много, начнут поступать жалобы от слушательских клубов, союзов предпринимателей и политических партий, что, мол, вопросы чересчур трудные. И тогда дело передадут на рассмотрение в Совет радио и в Отдел программ и у Ельберга могут быть неприятности: он рискует получить выговор с указанием на необходимость сделать вопросы более легкими, чтобы простые люди тоже могли на них ответить. Да, Ельбергу много чего приходится принимать в расчет.

Чаще всего ему звонят люди одинокие, которым не с кем словом перемолвиться, а им так нужно, чтобы их выслушали, вот они и обращаются к Ельбергу, хотя нередко несколько лет вынуждены ждать, пока можно будет излить душу. В большинстве своем это женщины, домашние хозяйки, которые целыми днями толкутся по дому одни с пылесосом и половой тряпкой в руках; чтобы сделать свое существование хоть чуточку более содержательным, они звонят в радиостудию. Но изредка в трубке раздается и мужской голос.

— Здравствуйте, господин Ельберг, с вами говорит Могенсен, торговец из Вальбю.

— Вальбю — это в Копенгагене, — с гордостью уточняет Ельберг.

— Совершенно верно, — говорит торговец.

— Как там сейчас погода в Вальбю?

Выясняется, что в Вальбю накрапывает дождь, но Ельберг убежден, что он скоро пройдет, это, по всей вероятности, случайная тучка. Он спрашивает, что Могенсен хотел бы послушать, и торговец просит сыграть «Панталончики любимые мои», песенка нравится ему своей бодростью и оптимизмом — нынче это нужнее всего.

— Я вот не могу понять, почему вы ничего такого по телевидению не передаете. Почему обязательно нужно показывать что-то до того заумное и унылое, что нам, простым людям, и не ухватить, в чем там смысл. Нам бы нужно попроще, повеселей, чтобы развлечься и отдохнуть, а забот да печалей у нас у самих хоть отбавляй.

— Да, да, — Ельберг явно предпочитает не касаться качества телевизионных программ, — в наши дни нелегко держать собственную торговлю.

— Еще как нелегко, уж я-то знаю! — И тут Могенсена прорывает, и он не может остановиться, говорит и говорит. О мелких предпринимателях и трудностях, которые они переживают, о гигантских супермаркетах, вырастающих повсюду как грибы после дождя; и каково всю жизнь гнуть спину, собственным горбом выбиваясь из нужды, а теперь, в его возрасте, слишком поздно начинать все сначала; и государство должно бы оказывать поддержку, а так что хочешь, то и делай... Все это, видно, давно наболело, но торговцу не с кем было поделиться, и вот теперь его жалобы выливаются на Ельберга, а тому не остается ничего другого, как вставлять в подходя-



щих местах «да, да» или «подумать только». Он хорошо понимает Могенсена, попавшего в тяжелое положение, и ему очень жаль его прерывать, но время-то идет, пора уже задать ему обязательный вопрос, между тем торговец настолько поглощен собственными проблемами, что слова Ельберга с трудом доходят до его сознания и, когда тот спрашивает, что такое аметист—животное, драгоценный камень или же цветок,—он никак не может сосредоточиться и в конце концов отвечает, что цветок.

— Вот ведь досада,—с сожалением говорит Ельберг,—ну ничего, сейчас мы сыграем для вас «Панталончики любимые мои», и желаю вам удачи и всяческих успехов.

— Спасибо, что вы меня выслушали,—благодарит торговец, и Ельберг с ходу отвечает, что это же его работа, ему за это деньги платят, но тотчас спохватывается: он ведь знает, слушателям всегда неприятны разговоры о том, что сотрудники радио получают деньги за свою работу, это лишний раз напоминает им о непомерно высокой и беспрерывно растущей плате за радио.

Много лет тому назад жил да был лавочник, которого угораздило что-то такое изобрести—и это его погубило. Он продал магазинчик и вложил все деньги в свое изобретение, но ничего путного не получилось, и он потерял все, что имел. Да, вот так оно и бывает. А теперь его преемник сидит в задней комнате магазинчика и слушает передачу «Позвоните на радио», в которой для него исполняют «Панталончики любимые мои». Он ляпнул во всеуслышание, что аметист—это цветок, и не может себе простить, что на него нашло

затмение и он сморозил такую чепуху, ведь в самом-то деле он прекрасно знает, что такое аметист. И не оттого он злится, что ему не досталась эта пластинка, у него все равно нет проигрывателя, но передачу слушало множество людей, а он так постыдно сел в лужу. Кому же приятно публично сесть в лужу, лавочник злится и сам не рад, что позвонил на радио.

У нашего лавочника и так-то неприятностей выше головы, времена стоят тяжелые, причем уже давно, а тут еще месяца два назад недалеко от его лавки открылся огромный супермаркет, и это уже сказалось на его торговле. Она с каждой неделей сокращается, и, если не произойдет решающих изменений, недалек тот день, когда он будет вынужден закрыть свой магазин. Ведь это же безобразие, власти должны бы вступить за мелких предпринимателей, быть может, запретить строить магазины размерами больше определенного стандарта или еще что-то сделать, им виднее. Не то чтобы лавочник Могенсен был сторонником государственного вмешательства в торговые дела, напротив того, он либерал и сторонник свободного предпринимательства, но должен же быть какой-то предел, и подобно тому, как есть закон, устанавливающий часы работы магазинов, чтобы никто не торговал в любое время суток, отбивая доходы у других торговцев, можно было бы принять закон, предусматривающий ограничения для супермаркетов, полагает лавочник. Он, конечно, либерал, но отнюдь не анархист.

В магазин входит покупатель, лавочник знает его, это один из его должников, ради приличия он время от времени заглядывает и покупает какую-нибудь мелочишку. А сам между тем потихоньку ходит в новый магазин,

лавочник однажды поймал его с поличным, когда тот тащил продукты в большой полиэтиленовой сумке с фирменным знаком супермаркета. Он явно чувствовал себя неудобно, глупо улыбался и плел какой-то вздор, что, мол, хотел только посмотреть, чем они там торгуют.

— Вы и покупки сделали солидные,— заметил тогда в ответ лавочник.

Покупки? Ну, раз уж он туда зашел, так решил заодно и купить, что нужно. Но это просто так, в порядке исключения, а вообще ноги его больше там не будет, Могенсену опасаться нечего, он его лавку ни на что не променяет.

Покупатель виновато оправдывался, но не может же Могенсен запретить ему покупать продукты в новом магазине, хоть этот человек и задолжал ему деньги. Лавочник знает, большинство остальных его покупателей тоже ходят теперь в супермаркет, а к нему забегают, если очень торопятся или если забыли там что-нибудь купить, однако все они упорно делают вид, будто побывали в новом магазине всего разок, просто из любопытства. Да что там говорить, никому не запрещается покупать продукты в супермаркете, хоть лавочнику иной раз ужасно хочется, чтобы был наложен такой запрет.

Покупатель, оказывается, слышал по радио, как лавочник говорил с Ельбергом, потому он, должно быть, и явился.

— Я только удивляюсь, как это вы не знаете, что такое аметист,— говорит он.

— Да знаю я прекрасно,— возражает лавочник.

— А почему же вы неправильно ответили?

— Просто ум за разум зашел. Разговариваешь, а в голове все время вертится, что твой

голос звучит сейчас по радио, и от этого совсем перестаешь соображать.

— И правда, наверно, чудно́ вот так говорить по радио,— соглашается покупатель,— а этот Ельберг, он, по-моему, симпатичный человек.

— Очень симпатичный.

Покупатель берет две бутылки пива, пустые бутылки он не прихватил, но обещает их занести. Лавочнику остается надеяться, что он не сдаст их по забывчивости в супермаркет, где платят по десять эре за штуку.

Не успел покупатель выйти, как входят двое новых, потом третий, и вот уже в лавке скопилось целых шесть покупателей. Все они слышали, как Могенсен говорил по радио— ну до чего же интересно!

— Нет, в самом деле, все-таки удивительно— чтобы по радио выступал Могенсен, у которого ты каждый день покупаешь продукты,— говорит один.

Остальные согласно поддакивают, в их жизни произошло нечто необычное, нечто, выходящее за рамки скучной обыденности. Вечером можно, сидя в кругу друзей и знакомых, сказать:

— Слыхали сегодня утром по радио, как там один не мог ответить, что такое аметист? Так это наш лавочник, я каждый день у него покупаю. Между прочим, симпатяга, каких поискать.

Нежданно-негаданно лавка ожила, дверной колокольчик то и дело звякает, покупатели входят и выходят. Все они в восторге от выступления Могенсена по радио, хоть он и запутался, отвечая на вопрос Ельберга. Это да, это вам не какой-нибудь супермаркет, вы когда-нибудь слышали, чтобы супермаркет выступал по радио, вот то-то и оно! Давно уже

торговля не шла так бойко, лавочник чувствует проблески оптимизма, быть может, все еще пойдет на лад, главное — не падать духом, проявить выдержку. Он просто испытывает временные трудности, в один прекрасный день наступит перелом и дела опять пойдут в гору, надо только, чтобы хватило сил и терпения выстоять в трудные времена.

Но уже через час-другой все входит в обычную колею. Мимолетная слава иссякла так же быстро, как и родилась, магазин пустеет, и хозяин может снова удалиться к себе в комнатуху.

Могенсен садится перекусить и берет к бутербродам бутылку пива. Он чувствует угрызения совести, пиво для него роскошь, хотя ему оно обходится дешевле продажной магазинной цены. Раньше он никогда себе этого не позволял, а в последнее время что-то распустился. Лавочник всю жизнь был бережлив, еще совсем юным продавцом он начал копить деньги, не в пример другим не тратил их на развлечения и выпивку, а откладывал, рассчитывая со временем открыть собственную торговлю. Он и девушку выбрал себе в жены такую же, как он сам, она тоже имела сбережения, и вместе у них набралось достаточно денег, чтобы купить этот магазин. В первые годы они вместе работали не разгибая спины и почти ничего не тратили на себя. Вся выручка шла исключительно на расширение и усовершенствование магазина, собственное благополучие откладывалось на будущее, когда-нибудь они пожнут плоды своих трудов.

Потом родился Хенрик, жена перестала работать в лавке, и он нанял себе в помощь одного продавца. То была прекрасная пора, пора успехов и радужных перспектив. Они

смогли переехать в новую, более просторную квартиру, они приобрели машину, как другие люди, они купили себе дачный домик на северном побережье Зеландии.

А теперь вот лавочник испытывает угрызения совести из-за того лишь, что берет к бутербродам бутылку пива. Продавца он давно уже не держит, ему это больше не по карману, да и дел не столько, чтобы нужен был помощник, он и один вполне управляется. Только по пятницам и субботам, когда больше всего покупателей, приходит жена и они вместе хлопочут в лавке, почти как в те давние времена, когда они еще только начинали и были полны оптимизма. Но теперь у них нет больше оптимизма, теперь они больше не верят в успех, им не до успеха—хуже бы не стало! Пока магазин, при надлежащей экономии, еще может их прокормить, но что будет завтра—неизвестно, и по ночам лавочник лежит без сна, мысли о будущем не дают ему покоя.

Звякнул дверной колокольчик, Могенсен торопится выйти. Это дама, она пришла за пекарным порошком, и лавочник понимает: она просто забыла его купить, когда была в супермаркете, но он делает вид, что рад покупательнице и ее покупке.

— Что, пирожок решили испечь?—спрашивает он.

— Да, знаете,—говорит дама,—так вдруг захотелось испечь песочный торт.

— Я вас понимаю,—кивает лавочник,—что может быть вкуснее домашних пирогов.—Он умеет разговаривать с людьми, и они его любят, считают, что их лавочник славный человек. Но в наши дни мало быть славным человеком, чтобы держать магазин и не прогореть.

Когда работа причиняет человеку столько огорчений и беспокойств, ему бы хоть вечером нужно как следует отдохнуть, но по возвращении домой лавочника ждут новые огорчения. С Хенриком просто беда, у Хенрика трудный возраст, да у него всю жизнь был трудный возраст. Он сам не знает, чего хочет, вечно он кислый, недовольный, ничем на него не угодишь. Взять хоть мастерскую, куда отец устроил его учеником. До этого он несколько мест перепробовал, и все ему были не по вкусу, а теперь поступил учеником к маляру—и опять уже нос воротит, хотя всего-то проработал там месяца два.

— Черт дери,—бурчит он за столом,—такая скучища. Без конца одно и то же, одно и то же, да еще вывозишься весь в этой пакости, не могу я больше, до того опротивело.

— Нечего чертыхаться,—сердится лавочник,—и выводы делать пока рановато. Работаешь без году неделя—и хочешь, чтоб дали интересную работу!

— Да нет у них там интересной работы, подмастерья в один голос твердят: хуже ихней профессии вообще не бывает. Если б, говорят, заново выбирать, кем угодно бы стали, только не малярами.

— Какую-то профессию надо же иметь!—возражает лавочник.

— Да, но на черта мне сдалось малярное дело!—упирается Хенрик.

Лавочник не отвечает, он уже столько раз устраивал Хенрика на работу, но нет, все не по нем. «Скучища жуткая»,—заявляет парень, проработав недели две.

Когда-то лавочник мечтал, чтобы Хенрик после девятого класса пошел в гимназию,

окончил ее, а потом получил высшее образование. Не потому, что он питает особое почтение к интеллигенции, а уж студентов он вообще не выносит, но ведь хорошие должности достаются только людям образованным, которые действительно чему-то научились и поэтому в состоянии руководить и управлять другими людьми, теми, кому не пришлось получить образования. Но Хенрик учился неважно, говорил, что школа ему опротивела, все это одна сплошная мура, и лавочник вынужден был признать, что у его сына практически нет шансов поступить в гимназию. Тогда он решил, что на худой конец можно удовольствоваться и реальным отделением средней школы, аттестат об окончании реального отделения тоже совсем неплохая вещь, лавочник не возражал бы сам иметь такой аттестат, жаль, что для него это было недостижимо. В четырнадцать лет родители забрали его из школы и отдали в учение к провинциальному торговцу, на которого он работал бесплатно, за жилье и кормежку, да и научиться он мало чему мог, потому что был попросту мальчиком на побегушках. Но к труду он приучился, и это ему было только на пользу, а уж бросить ученье ему бы и в голову никогда не пришло, хотя у него-то были для этого основания.

Однако Хенрику и на реальное отделение попасть не удалось. Для лавочника это было тяжелым ударом, он ходил тогда в школу разговаривать, может, они все-таки примут Хенрика, если он пообещает старательно учиться.

Но нет, директор ему объяснил, что у Хенрика нет способностей к умственным занятиям, он не выказывает должного интереса к учебе и поэтому возможность посту-



нить на реальное отделение для него исключена.

— Зачем вам непременно нужно, чтобы он поступил на реальное отделение, когда у него нет для этого данных? — спросил директор.

И лавочник пробормотал что-то такое насчет более широких возможностей, ему бы хотелось выпустить сына в самостоятельную жизнь как можно лучше подготовленным.

— Всем нам этого хочется, — сказал директор, — но ведь кто-то и у станка должен стоять.

Ну разумеется, это лавочник и без него знал, кто-то должен, конечно, стоять у станка, но почему именно его Хенрик, — и он ушел от директора раздосадованный, заподозрив, что шансы Хенрика отнюдь не возрастают от того, что его отец всего лишь мелкий лавочник. Но каковы бы ни были истинные причины, Хенрик на реальное отделение не попал, он закончил положенные девять классов и, оставив школу, оказался на распутье, не зная, чем заняться. Брался то за одно, то за другое, а теперь вот месяца два назад начал учиться на маляра, но и это ему уже надоело.

— Силы воли у тебя нет, — с горечью говорит лавочник, — вот в чем беда.

— Нет, правда, разве плохо быть маляром, — примирительно замечает фру Могенсен, — мне всегда казалось, что с красками работать до того увлекательно.

— Увлекательно, — бурчит Хенрик, — дерьма-то!

— Сейчас же перестань так разговаривать! — возмущается лавочник.

— Как разговаривать? — Хенрик непонимающе смотрит на отца.

— Так и сыплешь грубыми словечками, где ты их только набрался!

— Где, в мастерской, у нас там все так говорят.

— Меня не интересует, как говорят у вас в мастерской,— кипятится лавочник,— а дома изволь выражаться прилично!

Сразу после ужина Хенрик уходит куда-то к приятелям. Но вечер уже испорчен, и лавочник никак не может успокоиться.

— Что с ним делать, ума не приложу,— говорит он жене за вечерним кофе.— Взрослый парень, пора бы уж понять, что не век бить баклуши, без работы не проживешь.

— Хенрик еще просто себя не нашел,— утешает его фру Могенсен,— надо уж нам набраться терпения.

— Терпения,— с горечью возражает лавочник,— я всю жизнь только и делаю, что терплю, почему я должен быть терпеливей всех!

На это фру Могенсен ответить нечего, ей и самой всю жизнь приходится терпеть, но, возможно, ей терпение дается легче.

— Я поговорю с Хенриком,— обещает она, зная наперед, что не сделает этого. За последнее время она заметно сдала, не по силам ей эти раздоры, хочется одного—покоя, а там будь что будет.

Немного погодя лавочник снова начинает кипятиться, на этот раз из-за шума в квартире над ними. Не так давно туда вселилась молодая пара, оба длинноволосые, а девица к тому же в каких-то нелепых старомодных очках. Лавочник выяснил, что они студенты, у них уже есть маленькая дочка, которую они каждое утро увозят куда-то на велосипеде, по-видимому, в детский сад.

— А денежки, конечно, общество выкладывает,— говорит лавочник,— после этого удивляйся, что у нас такие налоги.

Лавочник не может понять, каким образом молодая пара ухитрилась получить эту квартиру, до сих пор в их доме жили только люди среднего и пожилого возраста, приличные люди вроде самих Могенсенов, и вдруг нате вам, этикие фрукты. Тут явно дело нечисто, без знакомств не обошлось, не место им здесь, таких нельзя селить в порядочном доме. Да ладно бы еще где-нибудь подальше, а то прямо у лавочника над головой.

Тихая и мирная жизнь кончилась с приездом этой парочки. У них вечно толчется народ, крутят пластинки, всякий джаз, или бит, или как их там еще, кошмар, а не музыка, а иной раз поднимут шум, возню — наверняка групповым сексом занимаются.

— Чтоб люди могли до этого докатиться, — говорит лавочник, — вот уж мерзопакость.

Эта самая мерзопакость частенько занимает его мысли. Одному богу известно, как, собственно, такое происходит. Лавочник вспоминает молодую соседку сверху и пытается представить себе, какой у нее при этом вид. Хотя она, конечно, ужасная страшила со своими распущенными космами и в дурацких очках, но все же в ней что-то есть, он не мог бы объяснить что, но факт остается фактом: когда он думает про их групповой секс, в центре всегда оказывается она, так и стоит у него перед глазами. Интересно, снимает она при этом очки или нет, он никак не может представить себе ее без очков.

— Придется нам все-таки принять меры, — говорит лавочник, — с какой стати мы должны терпеть этот шум!

— Что, опять они шумят? — говорит фру Могенсен. — А я и не слышу.

— Да ты помолчи и не двигайся.

Фру Могенсен застывает на месте, и тогда до нее тоже доносятся сверху какие-то звуки.

— Это они просто ходят по полу,— говорит она,— у них ковра нет, поэтому так громко слышно.

— Ходят по полу, как бы не так,— едко усмехается лавочник,— наивный же ты человек.

К счастью, наступает наконец-то время последних известий по телевидению, самые тягостные часы позади, часы между общей семейной трапезой и началом вечерних передач. Теперь лавочник сможет отдохнуть, забыть о своих неразрешимых проблемах, если, конечно, ему дадут возможность забыться. Если с экрана не обрушатся на его голову другие проблемы: беженцы, голод и нужда, разрушительные войны, валютный кризис. Они там просто помешаны на всяких таких вещах, думает лавочник, что ж, телепрограммы готовят люди ученые, им что, они могут себе позволить заниматься мировыми проблемами. А уж до чего умны, все-то они знают: кто виноват в военных конфликтах да почему нарушается валютный баланс— вот только невдомек им, что есть телезрители вроде него, Могенсена, которые собственными проблемами сыты по горло и хотят одного: часок-другой посидеть с приятностью у телевизора, забыв обо всем на свете.

Хенрик проводит время в компании молодых парней, счастливых обладателей мощных современных мотоциклов, они встречаются каждый вечер. У самого Хенрика нет мотоцикла, у него мопед, а к таким машинам у них всерьез не относятся, и он всегда оставляет свой мопед подальше от места сбора, а то еще

на смех поднимут. Хенрик не единственный, у кого нет мотоцикла, в их компании есть еще двое ребят, которые, как и он, пока в ученье и зарабатывают недостаточно, чтобы приобрести настоящий мотор, да и лет им маловато, все равно не дадут водительские права. Но со временем они обязательно займут собственную машину, и Хенрик, конечно, тоже, а до тех пор, что ж поделаешь, придется кататься, сидя за спиной у других.

Хенрик всегда сидит за спиной у Бенни, это вожак их мотобанды, его кумир. Но вообще ездить пассажиром не очень-то интересно, и поэтому Хенрик всегда представляет себе, будто это он сам ведет мотоцикл и все лошадиные силы у него в подчинении. Через год ему исполнится восемнадцать, и тогда неплохо бы обзавестись собственной машиной, он, кажется, даже обмолвился как-то при всех, что рассчитывает к восемнадцатилетию купить себе мотоцикл, хотя сам не знает, на что он надеется. Зарботки у него грошовые; даже если не тратить на себя ни эре, все равно не накопишь, сколько нужно. Вот тоже идиотство — загнать его в ученье к этому маляру, все папаша, в другом бы месте гораздо больше можно заработать, а тут только ходишь чумазый как черт и ни фи́га не платят. Охота была задаром вкалывать, нет, пусть отец говорит что хочет, а Хенрик скоро плюнет на все и уйдет.

Да, зрелище впечатляющее, когда десять мотоциклов один за другим с оглушительным ревом проносятся по улице, прохожие невольно оглядываются, кто с возмущением, а кто со страхом. Но, собственно, бояться совершенно нечего, ведь все мотоциклисты — приличные молодые люди, и езда на мотоцикле — просто их хобби, что ж в этом плохого. Они не

бездельники, все трудятся, причем добросовестно, на работе ими довольны. А уж как проводить свободное время—это решать им самим, да и куда деваться вечерами? Дома сидеть невозможно, старики только и знают, что пялиться на экран до полного одурения, слово скажешь—лезут в бутылку. Ну, поешь в темпе и смоешься, да начнешь ковыряться в машине, чтоб она была в ажуре к вечернему выезду.

Молодые люди раскатывают по городу без всякой цели, не выбирая заранее маршрута, просто так, куда кривая вынесет. Можно, конечно, и в одиночку кататься, но это совсем не то, тут главное—компания, и опять же десяток грохочущих мотоциклов—это вам не один, разве сравнить. Пешеходы испуганно шарахаются подальше от мостовой, автомобилисты тревожно сигналият, а иногда находится какой-нибудь чужак, который заявляет на них в полицию, и полиция тщательно регистрирует жалобу, но на этом все и кончается. Полиции ведь известно, что они приличные молодые люди, правила движения строго соблюдают, гашиш не курят, в уличных демонстрациях не участвуют и камнями в голову полицейским не швыряют. Но, само собой, не следует нарушать общественное спокойствие, навлекая на себя возмущение граждан, и время от времени полиция указывает им на несколько вызывающее поведение, но никаких мер против них не принимает, да и не имеет на то оснований.

Случается, мотоциклетный кортеж останавливается перед каким-нибудь кафетерием. Красавцы мотоциклы ставятся в ряд на улице, и их мгновенно облепляет толпа мальчишек, которые с молчаливым восторгом разглядывают шикарные машины. Мотоциклисты в

кожаных куртках заходят в кафетерий, берут по бутылке пива или кока-колы и сидят себе отдыхают, оживленно беседуя о лошадиных силах, о числе оборотов и количестве километров в час, а также обмениваясь впечатлениями о мотоциклетных прогулках. Впечатления связаны не с красотами природы и тому подобной мутью, а с драматическими дорожными происшествиями.

— Представляете, жму на всю катушку, сто двадцать пять, а этот идиот вдруг как...

— Я было подумал: карбюратор, а потом остановился, гляжу...

Мотоцикл — тема практически неисчерпаемая, о нем можно беседовать часами.

Иногда бывает, что за одним из столиков сидят рабочие-иностранцы, приехавшие в Данию на заработки. Какие-нибудь там евреи или турки, поди разберись, но отличить их от своих нетрудно: почти все низкорослые, черномазые и с усами, к тому же говорят на непонятном языке. Мотоциклистам их вид действует на нервы, и они не скрывают своего раздражения, но иностранцы притворяются, будто не замечают, и мотоциклистам поневоле приходится прибегать к более доходчивым средствам. Из школьных учебников географии они усвоили, что у южан горячая кровь, а заставить эту кровь вскипеть — для мотоциклистов пара пустяков: толкнуть разок, опрокинуть их стаканы, глядишь, черномазые уже взбеленились, и порою дело кончается дракой.

Хозяин кафетерия, пока возможно, ни во что не вмешивается, он тоже не питает симпатии к рабочим-иностранцам, которые возьмут чашечку кофе, рассядутся и сидят весь вечер, будто это им ресторан. Но когда баталии оборачиваются угрозой его имуществу, он

звонит в полицию, и иностранцы молниеносно исчезают: они не умеют говорить по-датски и боятся, как бы их не обвинили в том, что они первыми напали на мотоциклистов.

А то еще бывает, что за одним из столиков сидит кучка длинноволосых, эти мотоциклистам тоже не нравятся.

— Здорово, девки!— кричат они им, особенно Бенни мастер их задирать, но длинноволосые притворяются, что не слышат. Они не южане, кровь у них достаточно холодная, а скандал им ни к чему. Это раздражает мотоциклистов, и они пользуются более грубыми методами, но все равно не достигают желаемого эффекта.

— Слушайте, ну чего вы к нам пристаёте,— мирно говорят длинноволосые.

— Ах, ну чего вы к нам пристаёте,— жеманно передразнивает Бенни.

Однако же до драки так и не доходит, эти длинноволосые просто трусят, поджилки у них трясутся. Поэтому мотоциклисты, пожалуй, все же отдают предпочтение рабочим-иностранцам, у тех по крайней мере хватает храбрости не уклоняться от заслуженных тумаков.

Хенрик не проявляет активности, когда его приятели начинают задираться, ему это как-то не по нраву. Он не чувствует неприязни к длинноволосым, у них в мастерской тоже есть один с длинными волосами, ученик, как и он, вполне симпатичный парень. Может, конечно, эти в кафетерии не такие, они и одеты по-чуждому, да и без дела небось болтаются, но Хенрик, в общем-то, не чувствует вражды к людям, которые болтаются без дела, во всяком случае, он их понимает, если они считают, что лучше уж бездельничать, чем, например, учиться на маляра. Хенрику вспоминает-



ся и молодая пара, поселившаяся в квартире над ними, которую почему-то невзлюбил его отец. Они всегда так дружески здороваются.

— Привет,— бросают они ему при встрече, словно сто лет с ним знакомы.

Хенрика иной раз так и подмывает остановиться и поболтать с ними. Папаша утверждает, что они занимаются групповым сексом, но Хенрику что-то не верится. А хоть бы и правда, что ж тут такого, он и сам бы не прочь как-нибудь при случае принять участие. Он еще этого не пробовал, да он, собственно, и вдвоем-то ни разу не пробовал, все равно же надо когда-то начинать, так почему бы не начать прямо с этого, один черт.

Сегодня в кафетерии задирать некого, нет ни иностранцев, ни длинноволосых, приходится убивать время разговорами про карбюраторы и свечи, и Хенрик тоже изредка пытается вставить слово, но что он смыслит, пассажир с заднего сиденья, его слова никакого веса не имеют. Потягивая кока-колу, он слушает их болтовню и мечтает о том дне, когда он тоже заведет себе мотоцикл и сможет говорить с ними на равных. Но мотоцикл стоит немалых денег, а чтобы зарабатывать деньги, нужно освоить какую-нибудь профессию. Хенрик и осваивает сейчас профессию: он учится на маляра, у него даже волосы краской заляпаны и голова болит от ядовитой вони. Работа отвратительная и скучная до ужаса, она ему уже опротивела, а чтоб всю жизнь ею заниматься — нет, на это он не способен.

Лавочник Могенсен смотрит телевизор. Вечер выдался удачный, есть что посмотреть простому человеку, нынче это редкость. Показывают американский детектив, правда, ла-

вочник не знает американского языка, но на экране есть надписи по-датски, так что все понятно.

— О. К. Batman,— говорит гангстер своему шефу.

И на экране дается перевод: «О'кей, нехороший человек»<sup>1</sup>.

Лавочник наслаждается, фильм легкий и занимательный, всего с одним убийством, можно на какое-то время отключиться, забыть о делах, всяких там супермаркетах и изо дня в день уменьшающейся выручке.

После фильма он выпивает бутылку пива, одну-единственную, чтобы лучше спалось. Он всю жизнь спал прекрасно, но последнее время на него напала бессонница. А если выпить на ночь бутылочку пива, сон приходит быстрее. Однако фру Могенсен этого не понимает, она недовольна и каждый вечер ему выговаривает.

— Это дурная привычка,— твердит она,— раньше ты пил пиво только по воскресеньям.

Лавочнику невольно спорить с ней. Нельзя ему сейчас без пива, ночью он должен как следует выспаться, чтобы днем голова была свежая, тогда он, может, и сумеет справиться с трудностями и продержаться, пока не минует кризис и дела опять не пойдут на лад. Ведь он всю жизнь был бережлив, никогда не позволял себе ничего лишнего, так неужели теперь он не может выпить на ночь эту несчастную бутылку пива, раз она помогает ему уснуть.

---

<sup>1</sup> Batman — «Человек — летучая мышь» — герой популярных американских комиксов и телефильмов; это прозвище в титре переведено неправильно, так как звучит похоже на bad man (англ.) — дурной человек. — *Прим. перев.*

Лавочник Могенсен с супругой живут в приличной квартире в приличном доме в приличном районе, и, если не считать молодой пары, поселившейся над ними, рядом живет исключительно одна лишь приличная публика. Это служащие и чиновники, занимающие солидные должности, владельцы торговых и ремесленных заведений и частично пенсионеры — люди, не зря прожившие жизнь и достигшие прочного материального положения. Почти все они вселились в этот дом очень давно, еще молодоженами, вырастили детей, которые стали взрослыми и разъехались, а сами они так и остались здесь жить, хотя теперь могли бы, пожалуй, обойтись и меньшей квартирой. Но зачем, действительно, переезжать куда-то с насиженного места, им здесь удобно, и квартирная плата их устраивает. Она совсем ненамного увеличилась с того времени, когда они только вселились, во всяком случае, ее рост не идет ни в какое сравнение с ростом их доходов, и теперь, когда квартплата в новых домах достигла таких немыслимых размеров, надо быть просто болваном, чтобы перебираться в худшую и меньшую по площади квартиру и платить за нее вчетверо дороже.

Жизнь не стояла на месте в эти годы, для них это были годы подъема и движения вперед, все они добились успеха и зажили богаче. На улице перед их домом стоят большие дорогие автомобили, у всех есть холодильники, стиральные машины и телевизоры с двадцатипятидюймовым экраном. Летом они ездят отдыхать на Мальорку или на Канарские острова, у многих есть дачи на северном побережье Зеландии, возле тихой шоссейной

дороги с табличкой «Частное владение. Посторонним проезд воспрещается. Нарушители привлекаются к ответственности согласно закону об охране лесов и полей». Это люди, зорко стоящие на страже своих прав и привилегий: то, чем они владеют, не с неба к ним упало, они на своем веку потрудились, так с какой же стати делиться с бездельниками, которым ради собственного блага пальцем о палец ударить лень.

— Мне тридцать пять лет было, когда я купил первый автомобиль,— говорят они,— а нынче, как стукнет восемнадцать, так подавай им собственную машину.

Люди из этого дома неохотно признают всякие перемены, по их разумению, все и сегодня должно быть, как тридцать лет назад. Если сами они живут теперь богаче, то это, как им кажется, в порядке вещей, ведь они достигли обеспеченного положения исключительно благодаря своим способностям и труду, но, раз они в молодые годы могли прожить на двести крон в месяц, спрашивается, почему нынешняя молодежь не желает обходиться такими же деньгами. Они тоже когда-то были молодыми, но теперь уже плохо это помнят. Дожив до тридцати лет, они застряли на месте и с тех пор больше не двигаются. Музыку они любят слушать ту, которую играли, когда им было тридцать, фильмы они любят смотреть те, которые шли, когда им было тридцать, или хотя бы похожие на те. Им не по душе перемены, особенно такие, которые и от них чего-то требуют, их вполне устраивает то, что есть, причем всем хорошим они обязаны лишь самим себе, а посему оставьте их в покое и не портите им удовольствия.

Хотя они много лет прожили рядом, в одном доме, они почти не знакомы друг с другом и

совсем не общаются. Встречаясь на лестнице, они раскланиваются и, бывает, обмениваются незначительными замечаниями, вообще же каждое семейство держится само по себе. Однако они пристально следят за тем, что происходит в соседних квартирах, и любят об этом поговорить, им известно, что тот-то собирается разводиться, а эти, со второго этажа, купили себе новую машину, или что у соседки из такой-то квартиры сестра попала в аварию и погибла. Они много говорят друг о друге, но, в сущности, нисколько друг другом не интересуются. В одной из квартир жил одинокий вдовец, и когда он умер, то прошло целых две недели, прежде чем это обнаружилось. Он был никому не нужен, и никто его не хватился. Если человек долго сидит взаперти и не показывается, это еще не основание для того, чтобы другие совали свой нос в его дела, никому из них даже в голову не пришло, что он, возможно, заболел и нуждается в помощи. Должны же у него быть родственники и друзья, которые могут о нем позаботиться, и опять-таки разве кто-то обязан брать на себя роль сестры милосердия только потому, что живет в одном подъезде с больным человеком?

Когда Хенрик с отцом утром уходят из дому, фру Могенсен остается одна в квартире. Теперь она может спокойно посидеть, выпить еще чашечку кофе и полистать утреннюю газету. Она не особенно увлекается чтением газет, ей всегда кажется, она уже слышала главное во вчерашней передаче последних известий, а сообщения о разных там забастовках и демонстрациях и всяких событиях, происходящих в дальних странах, неизвестно

даже где расположенных, она и подавно пропускает. Ей не до того, у нее от своих забот голова идет кругом, но все-таки надо же хоть немножко быть в курсе, поэтому она считает своим долгом наскоро полистать газету до того, как примется за уборку квартиры.

«Вся Италия говорит о датской девушке»,— гласит один из заголовков, и фру Могенсен читает про датскую девушку, о которой судачит вся Италия. Хорошо же им там живется, если не о чем больше говорить, кроме как об этой датской девушке,— но нет, такие мысли не приходят в голову фру Могенсен. Она любит рассказы про удачливых людей, которые добиваются успеха в жизни, и прочитывает статью от начала до конца, а потом листает газету дальше, пока не дойдет до объявлений о кончинах и телевизионных программ.

Фру Могенсен приходится нелегко: муж ее последнее время ходит сам не свой, и она знает причину, но вынуждена притворяться, будто ничего не замечает. Она не раз пробовала завести с ним разговор, но стоит ей подступиться к главному, как он тотчас замыкается. Не хочет он с ней об этом говорить или не может, он хочет сам справиться со всеми трудностями. Когда-то они сообща занимались делами, она ведь тоже вложила свои деньги в этот магазин, и первые годы они работали вместе. А теперь она стала не нужна, она приходит в магазин только в дни, когда особенно много покупателей или если мужу надо пойти к зубному врачу или в парикмахерскую; когда-то это был и ее магазин, а теперь это магазин ее мужа, и он даже не хочет говорить с ней о нем, предпочитает один со всем разбираться.

Но она знает, что дела идут неважно и жить

им надо экономно. Сейчас мертвый сезон, говорит ее муж, люди сидят без денег. Такая уж сложилась обстановка, пусть она не думает, что трудно им одним, все торговцы переживают тяжелый период, потому что у людей сейчас мало денег. И надо как-то продержаться в ожидании лучших времен, что поделаешь, так оно всегда и идет, то в гору, то под гору, к этому заранее надо быть готовым, если занимаешься торговлей.

Супруги Могенсен, как и их соседи, живут теперь богаче, чем когда они только въехали в эту квартиру. В ту пору они ничего не имели, кроме магазина, а теперь у них есть и телевизор, и машина, и дача в северной Зеландии. Но последнее время будто что-то застопорилось, не то чтобы они совсем обеднели, но они как бы начали отставать от прочих жильцов. Автомобиль у них довольно-таки старый и отнюдь не может служить украшением шеренги машин, стоящих возле их дома, фру Могенсен знает, что соседи на него косятся. Старый автомобиль наносит ущерб репутации всего дома, и она стыдится своей машины. Остальные жильцы вот-вот обойдут их и оставят позади, и она не сомневается, что все это замечают. Если и дальше так будет продолжаться, в один прекрасный день они опустятся настолько ниже уровня остальных, что будут среди них как белые вороны, и что тогда делать? Придется куда-то переезжать, не дожидаться же, пока их выживут, но она так любит свою квартиру, да и где они найдут другую?

У фру Могенсен есть время поразмыслить, ведь прибраться в квартире недолго, а дальше чуть не весь день в ее распоряжении, только к вечеру надо сготовить что-нибудь горячее. Она не знает, куда себя деть, никому она

больше не нужна и чувствует себя лишней и заброшенной, ей совершенно нечем заняться.

У человека должно быть какое-то увлечение, и с недавних пор у фру Могенсен появилось свое увлечение. Неподалеку от их дома открылся новый универсальный магазин с кафетерием на втором этаже, и в этом кафетерии установлены игорные автоматы. Кидаешь монетку в двадцать пять эре, тянешь за ручку, и если выпадает счастливая комбинация, то из автомата сыплются металлические жетончики. При большом везении можно выиграть полный банк, и тогда насыплется разом столько жетончиков, что просто невероятно. Желющих поиграть всегда много, и, если хочешь занять автомат, лучше приходить пораньше, поэтому фру Могенсен торопится в кафетерий, как только закончит уборку. У нее припасена стопка монет по двадцать пять эре, и она сует их в прорезь и дергает за ручку, и если повезет, то выигрывает несколько жетончиков, которые ни на что, кроме игры, не годятся. Власти, радея о маленьком человеке и желая уберечь его от беды, запрещают всякую игру на деньги, поэтому кидать в автомат настоящие деньги можно, пожалуйста, а вот из автомата настоящие деньги высыпаться не должны — только жетоны. И администрация магазина развесила большие объявления, в которых четко и недвусмысленно сказано, что полиция запрещает всякий обмен жетонов на деньги, равно как жетоны не могут служить в качестве знаков оплаты при покупке товаров в магазине или закусок и напитков в кафетерии. Тут честная игра, каждый знает, на что он идет, и никто не может пожаловаться, что его надувают.

Фру Могенсен способна простоять у автомата несколько часов подряд. Она бросает день-



ги и дергает за ручку, и если выигрывает, то даже не вынимает насыпавшиеся жетончики, пока не истратит все монетки до одной. Только после этого она выгребает добычу. Главное — растянуть игру как можно дольше, если повезет, то сравнительно небольшой суммы хватает чуть не на целый день. У фру Могенсен, собственно, и денег-то нет на эту игру, она, конечно, совладелица магазина, но отстранена от всякого участия в делах, ей даже на хозяйство не дают твердой суммы, всякий раз приходится выпрашивать то на одно, то на другое. Мужу ее кажется, что она неэкономно расходует деньги, но ему и раньше всегда так казалось, до того, как она начала играть. Мало ли что ему кажется, у нее не так уж много удовольствий в жизни, а это ее единственное увлечение. Часами она может, забыв обо всем на свете, кидать в прорезь монетки и дергать за ручку, а когда ей случается выиграть полный банк, так вроде и день прожит не зря, хотя этот выигрыш совершенно ни на что нельзя употребить.

#### 4

Лавочник нервничает, им давно завладела навязчивая идея: он хочет своими глазами увидеть этот супермаркет, причину всех своих несчастий. Он хочет дознаться, что же у них там есть такого, чего нет у него и что как магнит притягивает людей. Он должен вывести их секреты, позаимствовать у них какие-то идеи, чтобы успешно с ними конкурировать, ведь наверняка дело не только в ценах, не могут они быть уж настолько ниже, видимо, есть что-то еще, что служит приманкой для покупателей, он должен разнюхать, что

именно, для него это вопрос жизни или смерти.

Однако не так-то просто выбраться в супермаркет, ведь часы их работы совпадают, а он один у себя в лавке и не может отлучиться. Но однажды утром он принимает решение: все, хватит откладывать. Он говорит фру Могенсен, что у него разболелись зубы и хорошо бы она сменила его во второй половине дня, он должен сходить к зубному врачу. Собственно, можно бы ничего и не сочинять, жена, конечно, сочла бы естественным его желание посмотреть супермаркет, но у него почему-то язык не поворачивается посвятить ее в свой план, ему даже слово «супермаркет» и то трудно выговорить, у него такое чувство, будто он замышляет что-то постыдное, собирается заняться грязными делишками, чем-то вроде шпионажа.

Когда фру Могенсен приходит в лавку, он снимает рабочий халат и надевает пиджак. Вид у него угрюмо-напряженный, и жена сочувственно осведомляется, сильно ли болит.

— Болит? — переспрашивает он и секунду смотрит на нее в недоумении. Но потом вспоминает про зубного врача и поспешно вздыхает:

— Ох, так дергает, мочи нет, наверно, воспаление надкостницы.

Фру Могенсен жалеет его, бедняжку, у нее сегодня хорошее настроение: до того, как сюда прийти, она успела целых два раза выиграть полный банк. Она говорит, что пора ему всерьез заняться зубами, вырвать все гнилые и заказать себе вставную челюсть, и раз уж он будет у врача, то пусть воспользуется случаем. Но лавочник и слышать об этом не хочет, болит-то всего один зуб, может, там еще и нет никакого воспаления надкостницы.

Бывает же очень сильная боль, хотя на самом деле ничего опасного, а вообще зубы у него пока вполне приличные. И он торопится уйти, а то, чего доброго, придется согласиться на вставную челюсть — дороговато обойдется ему визит в супермаркет.

Немного погодя он уже стоит в дверях магазина, к которому питает такую ненависть, хотя еще даже не видел его. Зал огромный, народу масса, из невидимых репродукторов льется приглушенная, ласкающая слух музыка, которая должна настраивать покупателей на нужный лад, крупные, четкие надписи оповещают о том, что помещение находится под постоянным контролем, что вносить в торговый зал сумки и портфели не разрешается и что каждый должен взять себе при входе ручную тележку для покупок.

Лавочник поспешно берет тележку и вкатывает ее в зал через дверцу, которая сама автоматически открывается перед ним и затем точно так же автоматически закрывается. Открывается она только снаружи, так что путь к отступлению отрезан, дальше трасса пролегает через весь магазин, между рядами тесно уставленных полок, чтобы закончиться у касс, и лавочнику ясно, что никуда не денешься, придется ему для вида что-нибудь купить. Если прийти к противоположному концу с пустой тележкой, это наверняка произведет неблагоприятное впечатление.

Лавочник идет между полками с разложенными на них соблазнительными товарами — протяни руку да брось себе в тележку. Все они расфасованы, и на упаковках проставлены цены, которые неизменно оканчиваются на 98: 1,98 кр., 5,98 кр., 7,98 кр., а на одной из упаковок значится даже 98,98 крон. Есть здесь и такие товары, каких лавочник никогда

раньше не встречал, и названия у них странные: «Ай-да-суп», «Экстра-шик», «Мигом-варим»,—причем не всегда понятно, что они собой представляют. Горы завлекательных товаров всех сортов и видов, так что даже лавочнику, который не чаёт избавиться от товаров, скопившихся в его собственном магазине, и то нелегко устоять против искушения заполнить свою тележку.

Покупателей в магазине множество, и лавочник с завистью следит за тем, сколько они набирают всякой всячины. Повертев в руках пачку «Экстра-шика» или «Ай-да-супа», они кидают ее в тележку, не потому, что это нужный им продукт, а просто так: стоит всего 1,98, отчего не взять, глядишь, пригодится. И еще один немаловажный момент: платить за покупки надо не сразу, а только при выходе, а это действует так же, как приобретение товаров в кредит с оплатой счета в конце месяца. Боже ты мой, до первого числа еще так далеко, расплачусь как-нибудь, но вот незаметно приближается первое число—или касса, и тут обнаруживаешь, что несколько пожадничал и денег набежало больше, чем рассчитывал.

Лавочник катит тележку между полками, берет в руки то одно, то другое, внимательно разглядывает и кладет на место. Возле полок со спиртными напитками он останавливается и берет бутылку водки, чтобы посмотреть цену. Цифры что-то плохо видны, и он роется у себя в карманах в поисках очков. Наконец он их находит, и выясняется, что водка здесь стоит всего на несколько эре дороже оптовой цены, по которой он сам ее покупает. Не может быть, чтобы они платили поставщику намного дешевле, чем он, значит, они идут на известный убыток—так вот в чем фокус, некото-

рые товары они продают почти без наценки, чтобы заманить покупателей, но зато выгадывают на всем остальном. Лавочник понимает, для него такой способ непригоден: вздумай он продавать что-нибудь без розничной наценки, народ повалит к нему валом и мигом раскупит этот товар, но только этот, за другими они побегут в тот же супермаркет. Нет, для него это гиблое дело, тут он им не конкурент,—и он ставит дешевую водку обратно на полку.

Владелец супермаркета — человек чрезвычайно занятой, настолько занятой, что ему некогда непосредственно руководить работой магазина, приходится передоверять это своим помощникам. Сам он проводит весь день у себя в конторе, откуда с помощью системы зеркал и телеэкранов наблюдает за тем, что происходит в торговом зале. Он имеет возможность следить за всеми перемещениями покупателей с тележками по магазину, и он в состоянии контролировать все их действия. Ему хорошо видно, как они ковыряют в носу или почесывают себе зад, улучив момент, когда никто не смотрит в их сторону, но его-то, собственно, интересует не это. Что говорить, молодые женщины в ультракоротких платьицах или мини-шортах способны привести его кровь в волнение, но не для того владелец супермаркета установил у себя всю эту дорогостоящую техническую аппаратуру, чтобы удовлетворять свою склонность к такого рода подглядыванию, цель его теленаблюдений — контроль за тем, чтобы товары, которые покупатели берут с полок, попадали к ним в тележку, а не в какое-нибудь другое место. К сожалению, товары не всегда оказываются в тележке, люди, увы, далеки от совершенства,

запросы у них нынче непомерные, жадность обуяла, хочется иметь все больше и больше, и богатый выбор товаров на полках вводит их в соблазн. Это, конечно, очень хорошо, для того и выставлено столько товаров, но, конечно, совсем не хорошо, чтобы кто-то, стремясь удовлетворить свою алчность, обогащался за счет хозяина магазина. Однако находится немало слабохарактерных людей, которые не понимают, что это нехорошо. Хозяин подсчитал, что ежегодные потери от разворованных товаров составляют несколько тысяч крон, и досада, вызванная тысячными убытками, перевешивает радость, доставляемую миллионными прибылями, которые, несмотря ни на что, текут ему в карман. Вот почему он целыми днями сидит у своих телеэкранов, следя за всеми действиями покупателей.

Ловля воришек мало-помалу сделалась его страстью, он как будто даже забывает, что цель его деятельности — не допускать воровства. Когда бесчестный покупатель попадает в ловушку, он так же счастлив, как фру Могенсен, когда она выигрывает полный банк, а если за целый день в магазине не совершается ни единой, хотя бы самой мелкой кражи, это может заметно испортить ему настроение. Случаются периоды затишья, когда у людей, непонятно почему, пропадает охота воровать, и это расстраивает владельца магазина, ночью он лежит и не может уснуть, мучительно раздумывая, что же ему делать, а на следующий день совершенствует выкладку товаров, чтобы они сами просились в руки, и перевешивает объявления о телевизионном контроле за торговым залом так, чтобы они меньше бросались в глаза; и его усилия приносят плоды: вот уже в ловушку попалась домохозяйка, сунувшая себе за пазуху баноч-

ку японских крабов,—теперь день хозяина магазина прожит не зря. Грешницу задерживают возле кассы и препровождают наверх, в контору, где хозяин тотчас берет ее в оборот.

— Эта баночка крабов,—говорит он,—я вас попрошу, дайте-ка ее сюда.

— Какая баночка крабов?—лепечет дама, заливаясь краской.

— Я видел, как вы украли банку крабов, признайтесь лучше сразу, не стоит тянуть время.

— Я ничего не брала,—говорит дама, разражаясь слезами.

— А грудь-то у вас какая полная,—язвительно замечает хозяин.

— Да, полная,—всхлипывает дама,—меня еще в школе всегда дразнили за то, что у меня большая грудь.

— Ну ладно, может, все-таки кончим ломать комедию,—обрывает ее хозяин, но дама со слезами клянется, что она ничего не брала, и тогда он тянется к телефонной трубке, говоря, что в таком случае вынужден призвать на помощь уголовную полицию.

Если б он просто сказал «полицию», вполне вероятно, дама продолжала бы еще какое-то время отпираться, но выражение «уголовная полиция» повергает ее в панический ужас, оно ассоциируется с безжалостными допросами, пытками и сырыми одиночными камерами—нервы не выдерживают, она сует руку за пазуху и достает крабов.

— Весьма благодарен,—говорит владелец магазина,—с вас 6,98.

Даме остается вынуть кошелек и расплатиться, хотя, возможно, крабы ей совсем не по карману, если за них надо платить, а возможно, она вообще равнодушна к крабам, просто слишком велик был соблазн хоть

чем-нибудь да пожить, а тут как раз подвернулась эта банка. Но она не смеет отказаться от покупки, она отдает шесть крон девяносто восемь эре и, кроме того, подписывает бумагу, в которой признает себя виновной в похищении банки крабов стоимостью 6,98 кр. и подтверждает, что поставлена в известность о немедленной передаче дела в полицию в случае повторной попытки воровства. Рыдая в голос, она покидает контору супермаркета. Вот как бывает.

Но сегодня день выдался неудачный: до сих пор не выловлен ни один преступник, и хозяин магазина совсем было отчаялся, как вдруг запахло добычей. Он давно уже приметил у себя на экранах какого-то странного человека, который ходит с тележкой по залу и совсем ничего не покупает. Берет в руки разные продукты, рассматривает их и кладет обратно на полку. При этом он то и дело настороженно поглядывает по сторонам с выражением, которое заставляет усомниться в чистоте его намерений, но пока он как будто ничего не стянул — если только он не такой ловкач, что ухитрился сделать это незаметно для хозяина. Однако тот не теряет надежды и сверлит глазами телеэкран, внимательно следя за каждым движением подозрительного человека.

И вот наконец-то добыча в руках: в отделе спиртных напитков человек останавливается, берет бутылку, смотрит на нее и вдруг молниеносно сует что-то себе в карман. После этого он спокойно достает очки, делает вид, что изучает цену, и ставит бутылку на место. Правда, хозяин не разобрал, что он такое сунул в карман, но сомнений у него никаких не возникает. На полках лежит множество бутылочек карманного формата с коньяком, виски



и джином, они, в сущности, на то и рассчитаны, чтобы можно было сунуть их в карман, и кое-кто буквально так с ними и поступает. Это любимая полка хозяина, он знает, что если не будет добычи в других местах, то уж здесь счастье рано или поздно обязательно ему улыбнется. Человек с пустой тележкой идет дальше, но владелец магазина видел достаточно. Он подзывает своего помощника и показывает ему на экране человека с пустой тележкой.

— Потрудитесь задержать его у кассы и доставить сюда,— говорит он.

— Будет сделано,— отвечает помощник, и они обмениваются недобрыми ухмылками, при виде которых непосвященный подумал бы, что здесь замышляется по меньшей мере убийство.

Лавочник никак не может придумать, что бы ему такое купить. Глупейшее дело — покупать где-то на стороне продукты, когда сам держишь продуктовый магазин, но он не решается пройти мимо кассы с пустой тележкой. Наконец он берет банку сардин за 98 эре, ее можно будет продать у себя за те же деньги, и еще пачку масла. В последний момент он ни с того ни с сего прихватывает баночку карамели, сам не знает зачем, наверно, показалось, что сардин и масла все-таки маловато, вот и взял, что под руку попало. У кассы он выстаивает длинную очередь, ругая себя за то, что даром потратил столько времени да еще и поддержал коммерцию своего злейшего конкурента. Толку от его похода никакого, он не увидел абсолютно ничего, что можно было бы перенять. Методы, используемые в супермаркете, для него

совершенно непригодны, и он только еще острее чувствует всю безысходность своего положения.

Он подходит к кассе, где дама, сидящая за аппаратом, подсчитывает причитающуюся с него сумму, в то время как другая дама складывает его сардины, масло и конфеты в фирменную сумку. Сумка выдается бесплатно, но зато на ней крупными буквами написано название магазина, и покупатель, выйдя на улицу, превращается в живую рекламу супермаркета. Лавочник отдает себе отчет в том, что для него это не самое подходящее занятие, надо будет по дороге домой избавиться от их фирменной сумки.

Он уже собирается уходить, как вдруг на плечо ему ложится рука и чей-то голос произносит:

— Одну минутку, прошу вас, пройдемте со мной в контору,

— Кто, я? — Лавочник ошеломленно взирает на остановившего его человека. — Зачем?

— Вот сюда, пожалуйста, — вместо ответа говорит тот, не слишком любезно подталкивая его в спину, и лавочник пасует и повинуется. Он лихорадочно раздумывает, в чем дело, может, они прознали, кто он такой, догадались, что он пришел разнюхать их секреты? А он слышал что-то вроде того, что будто бы торговый шпионаж карается законом, но нет, он при всем желании не видит в своих поступках ничего противозаконного. В конце концов каждый имеет право покупать продукты в супермаркете, даже если держит собственный магазин.

Владелец супермаркета с довольным видом сидит за своим письменным столом.

— Ага, вот и вы, — говорит он, когда лавочника вводят в контору.

Физиономия у него высокомерная и противная, и тут лавочник выходит из терпения, с него хватит.

— Не понимаю, что все это значит! — выпаливает он. — Во всяком случае, я не усматриваю в своих действиях ничего противозаконного!

— Ах, не усматриваете? — язвительно замечает хозяин магазина. — С каких же это пор стало законным присваивать чужую собственность?

— Не знаю, что вы имеете в виду, — говорит лавочник, — я посетил ваш магазин, я купил продукты и заплатил за них деньги, насколько мне известно, это не является противозаконным.

— Боже, до чего мне это знакомо, всегда одна и та же песня: я купил, я заплатил. Но речь идет не о тех товарах, за которые вы заплатили, а о той бутылке виски, которую, я видел, вы сунули себе в карман.

— Виски? — переспрашивает лавочник.

— Ну да, или джина — может, вы взяли джин, а не виски?

Лавочник становится бледен, как полотно, и начинает дрожать всем телом.

— Вы что же, обвиняете меня в воровстве, так вас следует понимать? — спрашивает он.

— Ну, раз вы сами назвали вещи своими именами, то да, именно так и следует понимать.

— Да как вы смеете! — кричит вышедший из себя лавочник. — Я вам не жулик какой-нибудь, у меня достаточно средств, чтобы заплатить за свои покупки!

— Разумеется, у вас достаточно средств, — говорит хозяин, — средств у вас у всех достаточно. Или вы думаете, воруют одни бедняки? Как бы не так, воруют люди с

положением, начальники канцелярий, государственные чиновники, школьные учителя, да что там, однажды вообще попался торговец, у него у самого магазин, так он пришел сюда шпионить и заодно воспользовался случаем пополнить на даровщинку собственные припасы.

Лавочник вздрагивает — как это понимать? Он совершенно сбит с толку, шутки они с ним шутят или правда думают, что он что-то украл?

— Давайте-ка сюда бутылку и кончим бесполезный разговор, — говорит владелец магазина.

Очевидно, это все-таки не шутка, и лавочник окончательно становится в тупик, не зная, как выпутаться из неприятной истории.

— Не брал я никакой бутылки, — говорит он.

— Быть может, вы предпочитаете иметь дело с уголовной полицией? — Рука хозяина уже лежит на телефонной трубке.

Уголовная полиция! Совесть у лавочника чиста, тем не менее мысль о полиции нагоняет на него страх. Хотя полиция, конечно же, установит, что здесь произошло недоразумение, но вдруг его все-таки внесут после этого в какую-нибудь картотеку как личность, однажды заподозренную в воровстве? Не дай господи сделать потом что-нибудь не так, нарушить правила движения или ошибочно вычислить сумму налога с оборота, тут-то и выплывет, что он уже раньше взят на заметку полицией. Кроме того, ему бы пришлось назвать свое имя и род занятий, а пока им, по-видимому, все же неизвестно, кто он такой. Лавочнику очень не хочется себя выдавать, положение у него — хуже не придумаешь, надо как-нибудь поскорее с этим кончить, и, стараясь по

возможности сохранить спокойствие и самообладание, он начинает опорожнять свои карманы. Ключи, спички, записная книжка, старый билет в кино—все это он складывает аккуратной кучкой на столе хозяина магазина, а затем выворачивает один за другим карманы, чтобы показать, что они пусты.

— Это все?— Хозяин смотрит на него в замешательстве.

— Пожалуйста, можете сами проверить,— отвечает лавочник.

Владелец магазина встает из-за стола и принимается обшаривать лавочника. Он не обнаруживает никакой бутылки и явно чувствует себя оскорбленным.

— Ничего не понимаю,— бормочет он,— до сих пор я никогда не ошибался.

Судя по выражению его лица, лавочник нанес ему тяжкую обиду тем, что ничего не украл, он не привык к подобному обхождению и не в состоянии скрыть свою неприязнь.

— Не могу же я мириться со всяким безобразием,— злобно восклицает он,— на этом воровстве я теряю не одну тысячу крон в год!

— Да, но мне-то какое дело,— возражает лавочник, вновь обретая присутствие духа.

— Ну да, вам это, конечно, безразлично,— запальчиво говорит хозяин магазина,— а мне, представьте, совсем не безразлично. На эти деньги я мог бы купить...— Он на секунду умолкает, прикидывая, чего бы он купил на эти деньги, но, очевидно, не может припомнить вещей, в которых бы испытывал недостаток.— В общем, как бы там ни было, я не вижу никаких оснований терпеть воровство у себя в магазине.

Лавочник вновь рассовал по карманам свое имущество. Он все время старался держать себя в руках, но, поняв, что этот тип не

намерен даже извиниться перед ним, он взрывается.

— Послушайте, вы,— кричит он,— я впервые в жизни сталкиваюсь с таким хамским обращением! Как вы только можете с вашими замашками держать магазин? Я всем про вас расскажу, так и знайте, я отважу людей от вашей поганой лавчонки, я вас по миру пушу, я...

— Попрошу без грубостей,— говорит владелец магазина.

Тут взгляд лавочника падает на фирменную сумку с его скудными приобретениями, и он решает, что свои покупки он уж во всяком случае вернет обратно. Он не желает ничего покупать в магазине, где так обращаются с людьми, и он требует, чтобы хозяин супермаркета забрал свои продукты и отдал ему деньги. Но тот отказывается с ним разговаривать, пока он не изменит своего тона.

— И кстати сказать, мы не принимаем товары обратно,— говорит хозяин,— такое у нас правило.

Лавочник секунду смотрит на него в упор, а потом вдруг как-то сникает. Нет у него больше ни на что сил, не может он скандалить, и он берет свою сумку, поворачивается и понуро идет к двери.

— Прощайте,— бросает он, уходя.

Владелец супермаркета не отвечает, он уже впился глазами в экраны. Подумать страшно, сколько он мог упустить прекрасной добычи, ведя пустые разговоры с этим неприятным покупателем, у которого хватило наглости оказаться не жуликом, а честным человеком.

На обратном пути лавочник несколько раз едва не попадает под колеса. Он идет, погру-

женный в свои невеселые думы, и ничего вокруг себя не видит. Машины визжат тормозами, угрожая его переехать, а один автомобилист опускает стекло и спрашивает, уж не надоела ли ему жизнь. Лавочник молчит, ему не до разговоров, но если на то пошло — вот именно, что надоела. Ей-богу, пусть бы его задавили, по крайней мере разом со всем было бы покончено.

Он идет и злится, эпизод в супермаркете не выходит у него из головы. И злит его не столько обвинение в воровстве, сколько собственное поведение. Ведь это надо было выступить в такой жалкой роли! Теперь-то, задним числом, он точно знает, как ему следовало действовать.

— Вот что, почтеннейший, — так ему нужно было сказать, — вы выдвинули против меня лживое обвинение, порочащее мою репутацию. Если вы не страшитесь последствий, я вам предлагаю вызвать полицию.

И тогда владелец супермаркета либо не посмел бы звонить в полицию, либо полиция явилась бы и сразу установила, что он невиновен, а этот тип получил бы нагоняй: нельзя же в самом деле беспокоить полицию без достаточно веских оснований, в другой раз пусть он смотрит получше, прежде чем звонить. И этот торгош покраснел бы до ушей и начал заикаться от стыда — вот это было бы зрелище!

Но лавочник сам лишил себя возможности насладиться победой, он трусил, услышав про полицию, он чуть ли не прощения стал просить за то, что ничего не украл. И вот результат: справедливость была на его стороне, а победа досталась этому торгошу.

Лавочник еще раз мысленно проигрывает несостоявшуюся сцену посрамления владельца супермаркета полицией и от души наслаж-

дается ею, пока не вспоминает, как было дело в действительности. Незаметно для себя он доходит до своего магазинчика, где его жена в эту минуту занимается с покупателем, и тут только он обнаруживает, что все еще держит в руке фирменную сумку супермаркета. Он делает отчаянную попытку спрятать ее, но поздно, покупатель уже обратил на нее внимание.

— Вот тебе раз,—говорит он,—и вы уже ходите в супермаркет?

Лавочник не отвечает, он направляется прямо в заднюю комнату, усаживается за письменный стол и подпирает голову руками. Так он и сидит, пока к нему не подходит жена.

— Ну что,—спрашивает она,—очень было страшно?

— Страшно?—Лавочник смотрит на нее замутненным взором.

— Сверлил он тебе?

— Сверлил?—Он начисто забыл про зубного врача, но тут вспоминает и с радостью цепляется за возможность повздыхать и поохать.—Да уж, приятного было мало,—говорит он,—а сейчас даже еще больше.

— Ничего, это скоро пройдет,—утешает его фру Могенсен.

Она берет фирменную сумку и заглядывает внутрь.

— Зачем это ты ходил в супермаркет?—спрашивает она.

— Да так, хотел посмотреть, что у них там, ну и зашел на обратном пути.

— И даже чего-то купил.

— Это я ради приличия,—говорит лавочник,—неудобно как-то совсем ничего не купить.

Фру Могенсен вынимает покупки из сумки и разглядывает их.



— Карамель,— говорит она.— Карамель-то тебе зачем?

— Ну, надо же было что-то взять,— отвечает лавочник.

— Да, но почему вдруг карамель?

— Господи, да не все ли равно, карамель или что другое,— устало возражает лавочник.— Зубы у меня болят.

Фру Могенсен смотрит на него. Пока его не было, она продала товаров меньше, чем на тридцать крон, и ей понятна его озабоченность. Поговорил бы он с ней откровенно, так нет, затаился и мучается один и становится все раздражительней и угрюмей. Она кладет ему руку на плечо.

— Йоханнес,— говорит она.

Он глядит на нее не очень-то ласково, да она и не знает, что ему сказать.

— Может, выпьешь таблетку,— говорит она,— я взяла с собой на всякий случай.

Лавочник в ответ лишь смотрит на нее усталым взглядом.

## 5

В жизни Хенрика произошли важные перемены: он бросил свою мотоциклетную банду и, можно сказать, переметнулся в лагерь противника. Он познакомился с молодой парой из квартиры над ними, и его жизнь наполнилась вдруг совершенно новым содержанием.

Енс и Гитте—при мысли о них у Хенрика теплеет на душе. Как-то раз после работы он нагнал их по пути домой, и они с ним заговорили, спросили, чем он занимается. Хенрик не слишком гордится тем, что он маляр, считает свою работу просто смешной, что ж бы такое им ответить,— но он не сумел

на ходу придумать что-нибудь поприличнее, пришлось сказать как есть, хоть он и опасался, что это произведет на них плохое впечатление.

Однако же Енс и Гитте нисколько не были разочарованы тем, что он маляр, наоборот, они, кажется, пришли в восторг, услышав об этом, и пригласили его заглянуть к ним как-нибудь вечером.

— Почти все наши друзья—студенты, интеллигенция,—сказали они,—но мы против того, чтобы вариться в собственном соку, хочется поближе узнать людей из других общественных кругов. Если понравится, присоединяйся к нашей компании.

Хенрик только кивнул, он не нашелся, что ответить, а они продолжали говорить, что среди их знакомых нет никого из рабочего класса и это жаль. Так что, если Хенрик придет, они ему будут очень рады.

Хенрику как-то никогда не приходило в голову, что он принадлежит к рабочему классу, но тут он вдруг понял, что это правда. Дома у них к рабочему классу относятся несколько свысока. Его отец—свободный торговец, а это не то же самое, что простой рабочий. Рабочие—это те, что бастуют и требуют повышения заработной платы, отец их недолюбливает, и Хенрик невольно усвоил его образ мыслей, а тут до него вдруг дошло, что он и сам рабочий. Ну да ладно, рабочий не рабочий, а ему ужасно хотелось познакомиться с этими двоими, и дело кончилось тем, что он пообещал заглянуть к ним в тот же вечер.

И теперь он постоянно у них бывает, его признали, и он считается своим в их компании, хотя ему трудно с ними равняться. Енс учится на архитектора, а Гитте будет учительницей, и

Хенрик их боготворит и преклоняется перед ними даже еще больше, чем он преклонялся перед Бенни, вожаком мотобанды. У Енса и Гитте собирается множество народу, и все, кроме Хенрика, студенты, все изучают разные науки, но нос они перед Хенриком не дерут, разговаривают с ним просто и дружелюбно и стараются втянуть в свои споры и дискуссии.

Ведь они занимаются вовсе не групповым сексом, как утверждал его отец и как сам Хенрик втайне надеялся, хотя в то же время побаивался этого. Ему-таки было страшно-важно идти туда в самый первый вечер, он с опаской ожидал, что будет встречен оравой голых людей, которые и его заставят сбросить одежду и принять участие в общей оргии. Трудно сказать, что он почувствовал, разочарование или облегчение, когда увидел, что все они одеты, сидят себе и мирно беседуют, одни потягивают пиво, другие пьют чай. И так бывает всякий раз. Хенрик даже удивляется, как это у него хватило глупости поверить отцу, и однажды он, не стерпев, рассказывает им об отцовских домыслах.

— Он что же, действительно думает, у нас тут каждый вечер групповой секс? — спрашивает Енс.

— Что ты, это у нас только по большим праздникам, — говорит кто-то.

И Хенрик сам не рад, что проболтался. Выходит дело, они все-таки и правда иногда занимаются этим — или как? Если да, то он тоже при случае попробует. Но ведь их не разберешь, всерьез они с ним говорят или шутят. У них вообще принят какой-то особый иронический тон в разговоре, совсем для него непривычный, и он никогда их толком не понимает.

Но покамест в доме Енса и Гитте ничего непристойного не происходит, просто собирается молодежь, сидят, пьют пиво или чай, курят, разговаривают, спорят. Хенрик не знает, может, кто-нибудь из них курит гашиш, сам он не курит, и его никто не угощает. Ему бы, конечно, интересно узнать, что они курят, но спрашивать неохота, чего доброго, опять попадешь впросак, как в тот раз, когда он ляпнул насчет группового секса. Ему вообще все время кажется, что он того и гляди попадет впросак, и от этого он чувствует себя неуверенно.

Разговаривают они все больше о политике да об общественном устройстве. Хенрик никогда особенно не интересовался ни политикой, ни общественными проблемами, и ему трудно следить за ходом их рассуждений, но постепенно ему становится ясно, что они замышляют переделать общество, а это, по его мнению, неплохая идея. Хенрик не возражал бы, чтобы общество стало иным, таким, к примеру, где не нужно учиться на маляра, и он старается слушать внимательно, а по временам набирается храбрости и сам встречается в спор, но почти всегда дело кончается тем, что они дружно на него накидываются.

— Ты, брат, отъявленный реакционер, — заявляют они, — а еще рабочий.

Хенрик понятия не имел, что он реакционер, он вообще плохо себе представляет, что такое реакционер, но немножко неприятно, что они ему все время тычут: рабочий, рабочий. Правда, в том, как они об этом говорят, нет ничего унижительного, но само упоминание об этом заставляет его чувствовать себя другим, не таким, как они, не совсем своим человеком в их среде, а Хенрику не нравится чувствовать себя другим. Ему хочется быть таким, как все

в компании, он не желает ничем выделяться. Раньше он в своей мотобанде из всех сил старался походить на остальных ребят, а теперь он стремится быть таким, как Енс и Гитте. Он уже и волосы начал отращивать, к неудовольствию своего отца, и одеваться он старается, как они. Он делает все, чтобы стать похожим на них, но сам чувствует, что это удастся ему лишь отчасти.

Они столько знают и так уверенно держатся, что Хенрик невольно ощущает их превосходство. Они ведут бурные дискуссии, пользуясь при этом чужим и непонятным ему языком.

Они рассуждают о конфронтации и интеграции, об альтернативных решениях и коммуникативных процессах, а для Хенрика это все китайская грамота. В школе он таких слов не проходил, а на работе и в мотобанде тоже никто не говорил ничего похожего. Хенрик окончил девять классов, его учили читать и считать, его учили священной истории, естествознанию и географии, но его никогда не учили пользоваться такими словами. Гитте, Енс и все их друзья окончили гимназию, вероятно, это в гимназии учат так говорить. Хенрик среди них чужой, он все сильнее это ощущает, они живут в разных мирах и говорят на разных языках. И все-таки он тянется к ним, слушает их разговоры и старается чему-то научиться, а изредка отваживается сам подать голос, но почему-то всегда говорит что-нибудь не так или невпопад. И они смеются над ним, а Хенрик вспыхивает и дает себе обещание впредь держаться от них подальше, но на следующий день бежит к ним опять. Он не испытывает желания вернуться в мотобанду, он вообще не понимает, как он выносил своих бывших дружков со всем ихним бредом насчет

карбюраторов, выхлопных труб и лошадиных сил. Что там ни говори, с Енсом и Гитте ему все-таки гораздо лучше, и, хотя они над ним смеются, он чувствует, что они признают его как личность, а Хенрик так жаждет признания. Он уже целых семнадцать лет добивается признания хоть с чьей-нибудь стороны.

## 6

Происшествие в супермаркете нанесло лавочнику чувствительный удар, и он никак от него не оправится. Он не может выкинуть из головы унижительный эпизод, снова и снова мысленно проигрывает всю сцену, как она протекала в действительности и как должна была бы протекать, не дай он захватить себя врасплох. Он не может примириться с тем, что вел себя как последний дурак и позволил, чтобы с ним обошлись подобным образом. После этого он словно окончательно утратил веру в себя и в свое будущее. И без того все выглядело достаточно мрачно, а теперь его положение представляется ему совершенно безнадежным, и он понятия не имеет, что ему дальше делать. Может, просто взять да махнуть на все рукой — или все-таки попробовать еще какое-то время продержаться? Он не в состоянии ничего решить и чувствует себя бесконечно усталым.

Было бы, конечно, намного легче, если б он мог с кем-нибудь поговорить о своих делах, но с кем поговоришь? Всем нынче некогда, у всех своих забот по горло, где уж тут думать о чужой беде. Лавочник частенько вспоминает Ельберга, симпатичного Ельберга, который у себя в радиостудии с таким пониманием выслушал его, он единственный, перед кем

Могенсен решился раскрыть душу. Поговорить бы опять с Ельбергом, лавочник несколько раз порывался ему звонить, он нашел в телефонной книге номер его домашнего телефона, но в последнюю минуту отказывался от своего намерения. И в самом деле, неудобно беспокоить незнакомого человека, сотрудника радио, по своим личным делам, и к тому же, как знать, возможно, он такой чуткий и отзывчивый, только когда выступает по радио, а в частной жизни совсем другой. Но нет, лавочнику не хочется так думать, лучше он будет представлять себе Ельберга добрым человеком, всегда готовым с сочувствием выслушать жалобы ближних.

Вообще-то, казалось бы, о таких вещах естественнее разговаривать с собственной женой, чем с сотрудником радиовещания, между супругами не должно быть тайн, они должны делиться друг с другом своими заботами и огорчениями, но не так это просто, как кажется, лавочник слишком долго молчал, нося в себе свои тяготы, и теперь ему трудно заставить себя открыться жене. Он знает, что это глупо, как-никак, магазин — их общее детище, они до сих пор иногда вместе работают, им двоим сам бог велел сообща обсуждать дела и помогать друг другу в тяжелое время. Поговори он с ней начистоту — насколько бы ему сразу полегчало, и лавочник каждый день дает себе слово, что сегодня вечером выложит жене все как есть, но домой он приходит усталый и просто не в силах начать трудный разговор, он откладывает на завтра — и так до бесконечности, никогда он, видно, не соберется с ней поговорить.

У лавочника есть дача, но он почти забыл о ее существовании, они уже целую вечность там не были. Раньше они ездили туда на

субботу и воскресенье, ни одной недели не пропускали, и он окапывал, рыхлил, подрезал, и дышал свежим воздухом, и наливался той здоровой усталостью, от которой так легко и быстро засыпаешь, а на следующее утро просыпаешься свежим и отдохнувшим. Теперь они совсем перестали там бывать, даже на это у него сил не хватает.

Но вот однажды ему снова приходит охота съездить на дачу. Он сам не знает, почему его вдруг туда потянуло, но, чем больше он думает об этом, тем больше воодушевляет его мысль о поездке: быть может, там, в иной обстановке, среди тишины и покоя, у него скорее развяжется язык, быть может, атмосфера дачного отдыха сделает возможным то, к чему он так безуспешно стремится — чтобы между ними состоялся наконец-то откровенный разговор. Лавочник настолько окрылен надеждой, что ему начинает казаться, будто чуть ли не все его проблемы уже решены, и он ждет не дождется, когда же наступит суббота.

Фру Могенсен с радостью принимает его предложение, она тоже любит свою дачу и жалеет, что они так редко стали туда ездить, но последнее время она видела, что мужу не до того, и не хотела докучать ему просьбами. Хенрик говорит, что не поедет, он увлечен своими новыми друзьями и не имеет ни малейшего желания расставаться с ними ради того, чтобы изнывать от тоски на родительской даче, и лавочник не настаивает, на этот раз он, пожалуй, даже доволен несговорчивостью сына. Ему совсем не по нраву, что Хенрик без конца околачивается у этих людей наверху, они забивают ему голову разной ерундой и учат небось всякому непотребству, но в эту субботу лучше, чтобы Хенрик с ними не ездил. Им нужно не откладывая поговорить



друг с другом, а для этого лучше остаться одним.

В субботу фру Могенсен, как обычно, помогает ему в лавке, это день, когда у них все еще бывает достаточно покупателей, и нахождение у лавочника такое хорошее, какого давно уже не было, он радуется предстоящей поездке на дачу и заранее чувствует облегчение оттого, что наконец изольет душу и не будет больше страдать в одиночку. Он выложит все начистоту и трезво, без прикрас, обрисует положение, с тем чтобы они вместе решили, как им быть дальше. «Не хочу от тебя скрывать, дела наши идут далеко не блестяще,— скажет он,— но думаю, для нас еще не все потеряно, если мы сможем какое-то время продержаться, а для этого нам нужно быть осмотрительными и экономными во всем, вплоть до мелочей».

Лавочник мысленно разговаривает с женой, и трудности словно уже отступают, становятся меньше оттого, что будет близкий человек, который разделит их с ним. Перед самым отъездом он прихватывает с собой бутылку красного вина, вино способно творить чудеса, за рюмкой беседа течет легче и непринужденней.

Движение в направлении из города очень оживленное, не одни они устремились сегодня на лоно природы, автомобили идут густым потоком, все как на подбор элегантные, свежеемытые и блистающие лаком, совсем новенькие на вид, за исключением машины Могенсенов, которую, увы, новой не назовешь. Ее давно пора бы сменить, но приходится откладывать это до лучших времен, как и многое другое; двигатель у нее работает неровно, она пыхтит и всхрапывает и выглядит довольно-таки неказисто. Владелец краси-

вых машин она явно раздражает, должно быть, они считают ниже своего достоинства ехать по одной дороге с таким драндулетом и поэтому сигналият лавочнику, хотя он не нарушает никаких правил, а некоторые укоризненно покачивают головой или красноречивым жестом крутят пальцем у виска. Такие знаки внимания не могут доставить особого удовольствия, и лавочник чувствует, как внутри у него начинается жечь, но не подает виду и старается сохранить самообладание. Он едет в самом крайнем ряду и, пытаясь отвлечься, обрушивает весь свой гнев на мотоциклы и мопеды, которые он терпеть не может и считает, что следовало бы их запретить.

На загородном шоссе лавочника то и дело обгоняют, хотя он едет на максимально допустимой скорости, никому неохота ронять свое достоинство — тащиться позади такого автомобиля, и все торопятся проскочить вперед. Полицейских постов на дорогах мало, думает лавочник, полиция должна бы построже следить за порядком, чтобы никто не мешал людям спокойно ехать, не нервировал их лихаческими обгонами. Как можно, чтобы на шоссе совсем не было полиции?

Но полиция есть, вот она, легка на помине, ее недреманное око зорко следит за тем, как выглядят проезжающие автомобили. Полиция недолюбливает машины, возраст которых перевалил за три года, и автомобильная промышленность, к слову сказать, тоже их недолюбливает, но, конечно, вовсе не обязательно усматривать здесь какую-то связь. Полиция преспокойно наблюдает, как большие элегантные машины проносятся мимо на недозволенной скорости, но, увидев лавочника в его пыхтящем драндулете, она немедленно активизируется. Один из полицейских, выступив

вперед, делает лавочнику знак подъехать к обочине, и лавочник подчиняется, хотя не понимает, чем это вызвано. На его взгляд, он единственный, кто едет, строго соблюдая правила, странно, что именно его останавливают.

Один полицейский просит лавочника предъявить водительские права, между тем как другой принимается осматривать со всех сторон его машину. Разговаривают они категорическим тоном, но вежливо и корректно, как их тому обучили в полицейской школе — наряду со всякими другими вещами, которым их тоже там обучили. Лавочник беспокойно косится на полицейского, который ходит осматривает машину, он достал какой-то похожий на шило инструмент и с силой вгоняет его по самую ручку то в одном, то в другом месте.

Смотреть, как кто-то прокалывает дырки в твоей машине, не особенно приятно, и лавочник силится сохранить присутствие духа, чувствуя в то же время, как внутри у него опять все накаляется. Полиция, вне всякого сомнения, имеет законное право пропарывать насквозь частные машины, да и в любом случае лучше помалкивать, протестами можно лишь испортить дело, но ох как нелегко сохранять невозмутимый вид,— и лавочник крепче стискивает баранку, словно для того, чтобы удержаться и не наделать глупостей.

Полицейские не в восторге от его машины, они констатируют, что металл кое-где поизносился, есть и другие мелкие изъяны, не думает ли Могенсен сменить автомобиль?

— Сменить? — переспрашивает лавочник.

— Ну да, купить себе новый, этот ведь уже довольно потрепанный.

А то он без них не знает! Лавочник чуть было не сказал, если они дадут ему денег

взаймы, он с удовольствием купит себе новую машину, но, слава богу, вовремя спохватился. Неизвестно ведь, вдруг полиция шуток не понимает.

— Вообще-то, по правилам мы бы должны снять у вас номерные знаки,— говорит один полицейский,— но уж...

И на лице его появляется слабое подобие улыбки, мол, знай наших, вот какие мы хорошие полицейские, мы не будем понапрасну снимать у людей номерные знаки, если можно пока без этого обойтись. Мы, так и быть, смилостивимся над нарушителем и отпустим его с миром. Однако же, ничего не поделаешь, Могенсен должен быть готов к тому, что в ближайшее время его машина будет вызвана на технический осмотр. Они подносят руку к фуражке в знак того, что он может продолжать свой путь, и лавочник дрожащими руками трогает машину с места, между тем как полицейские облюбовывают новую жертву: на этот раз ею оказывается малолитражный автомобиль, выкрашенный в весьма экстравагантные цвета — от такого можно ожидать чего угодно.

Лавочник ведет машину в молчании, загородная поездка непоправимо испорчена, и, что до него, он бы охотнее всего повернул назад. Когда они приезжают на дачу, он усаживается в кресло и сидит смотрит в сад. Он собирался за субботу и воскресенье привести кое-что в порядок: на одном из окон облупилась краска, дверь в комнату стала плохо закрываться, несколько деревьев нуждаются в подрезке, а он любит возиться с такими вещами, но сейчас вся его энергия куда-то подевалась и он жалеет, что затеял этот выезд на дачу.

Когда они садятся есть, он все же ставит на стол вино, зря он, что ли, тащил его с собой,

но оно не создает той атмосферы, на какую он рассчитывал, они почти не разговаривают друг с другом, а от выпитого вина у него начинается сосать в животе. К горлу подступает тошнота, которая становится настолько нестерпимой, что ему приходится выбежать вон.

— Это все лук,—бормочет он по возвращении, ему кажется, что почувствовать недомогание от еды не так унижительно, как от вина.— Мне всегда бывает плохо от жареного лука.

Фру Могенсен смотрит на него озабоченно, она опасается за его здоровье, говорит она, последнее время у него что-то неважный вид, не мешало бы ему сходить к врачу.

— К врачу,—ворчит лавочник,—чего ради я пойду к врачу, здоровье как здоровье, а что я лук плохо переносу, так это всегда было.

Вечер прохладный, приходится включить электрообогреватели. Лавочник тоскует по своему телевизору, сегодня показывают очередную серию многосерийной передачи, которую он смотрит каждый день, теперь он ее пропустит и не будет знать, что случилось с разными действующими лицами. Глупо было тащиться сюда, ему совершенно ясно, что у них не получится никакого разговора, весь его план пошел насмарку.

Они рано укладываются спать, и, лежа рядом с ним в волглой постели, жена нашаривает его руку.

— Иоханнес,—говорит она,—тебя что-то мучает?

— Мучает?—переспрашивает лавочник.— С чего ты взяла?

— Я же замечаю, последнее время ты сам не свой,—говорит она,—как будто у тебя какие-то неприятности.

Лавочник глубоко переводит дыхание, вот он, удобный случай, вот возможность высказать все, что наболело. Но его все еще тошнит, он измотан до предела, нет у него мочи ни о чем говорить.

— С магазином что-нибудь неладно?— спрашивает фру Могенсен.

— С магазином?— повторяет лавочник, словно не понимая, о чем речь.

— Ну да, с магазином, ты же мне ничего не рассказываешь.

Она произносит это тихо, без тени укоризны, словно желая прийти ему на помощь, но нет, сегодня он больше ни на что не способен. Тошнота становится все сильнее, он боится, как бы его опять не вырвало.

— Я устал и плохо себя чувствую,— говорит он,— неужели так необходимо именно сейчас выяснять эти вопросы, хоть здесь-то могу я спокойно отдохнуть!

Фру Могенсен ничего ему не отвечает, и в спальне делается совсем тихо. На дворе накрапывает дождь, и лавочник вспоминает, какое ему раньше доставляло удовольствие слушать шум дождя и шелест листвы за окном. Оба они всегда любили свою дачу и жалели, что у них не хватает времени вволю ею насладиться. Но они надеялись, что еще наверстают упущенное: не дожидаясь, пока совсем состарятся, они продадут свой магазин и заживут наконец той жизнью, какой не могли позволить себе в тяжелые годы, когда приходилось вкладывать в магазин так много труда. Они смогут жить на даче, сколько захотят, и будут за все вознаграждены. Верит ли она, как прежде, что это сбудется, верит ли, что они сохранят в целости свой магазин и им будет что продавать?

— Понимаешь,— говорит лавочник,— я...

Но нет, он все равно не знает, что сказать, да она и не отвечает, наверно, уже уснула. Лавочник переворачивается на бок, он борется с тошнотой и вслушивается в шум моросящего дождя в надежде ощутить от этого хоть каплю былого удовольствия.

## 7

Хенрику трудно, жизнь его раздвоилась, он живет в двух разных мирах. Днем он на работе, среди других учеников и подмастерьев с их болтовней о футболе, машинах, телепередачах и девочках, а вечером у Енса и Гитте, в кругу их друзей, ведущих споры об общественном устройстве, политике и литературе. Хенрик чувствует, что не может понастоящему прибиться ни к тем, ни к другим. Работа в малярной мастерской никогда не доставляла ему удовольствия, а с тех пор, как он стал ходить к Енсу и Гитте, она ему и вовсе опротивела. Раньше ему хоть бывало иногда весело болтать с другими учениками, а теперь он вдруг увидел, что у него нет с ними ничего общего. Их кругозор настолько узок, их мирок настолько ограничен, что ему совершенно не о чем стало с ними говорить.

Иное дело, когда он вечером заходит к Енсу и Гитте, но и в их компании Хенрик не чувствует себя полностью своим. Они все такие умные, рассуждают, спорят и его стараются втянуть в разговор, хотят услышать его мнение. «А ты как считаешь, Хенрик?» — спрашивают они. И Хенрик краснеет до ушей и бормочет свои «м-м-м...», или «ну-у...», или «даже не знаю...».

Он не решается откровенно высказывать свое мнение, опасаясь, что его поднимут на

смех, но все равно почти всегда кончается тем, что они над ним смеются, правда беззлобно, дружески снисходительно, как над малым ребенком, еще не научившимся чисто говорить.

Хенрику очень хочется стать таким же умным, как они, чтобы участвовать в общем разговоре и излагать свои взгляды, пользуясь красивыми и редкими словами, но он ничему такому не учился. Недавно он записался в библиотеку и начал брать там книги. Енс и Гитте говорят ему, что надо прочесть, и он идет в библиотеку и возвращается с целой кипой книг. Это книги о разных социальных проблемах и о человеческой психике, а также современные романы, они лежат высокой стопкой на столике возле его кровати, и он каждый вечер открывает какую-нибудь из них и пробует читать, потом, полистав, кладет ее на место и принимается за следующую, и продолжает в том же духе, пока не переберет всю стопку. Он колеблется, не зная, с какой бы начать, и никак не может как следует взяться за чтение, а тем временем подходит срок сдачи. Так он и живет, мучаясь угрызениями совести оттого, что не может прочитать ни одной книги, и каждый день дает себе слово собраться с силами и прочесть какую-нибудь одну от корки до корки: лиха беда начало, после первой ему уже не составит труда одолеть следующую, и дело пойдет. Но пока Хенрику еще не удалось прочесть ни одной книги от начала до конца, он все так же листает их, заглядывая наугад в отдельные места, поэтому пока он не очень-то поумнел и по-прежнему слушает споры остальных, не решаясь высказывать собственную точку зрения.

Хенрик отрастил довольно длинные волосы,



а это, как выяснилось, может серьезно осложнить жизнь. Не всем нравятся длинноволосые, некоторые думают, что, раз у человека длинные волосы, значит, он вшивый грязнуля, курит гашиш или колет себе наркотики. А Хенрик ни разу в жизни не курил гашиш, и голову он моет каждую неделю, но это, оказывается, дела не меняет. Едет он однажды на мопеде, и вдруг какая-то дамочка шагает, не глядя по сторонам, прямо ему наперерез. Хенрику приходится сделать рискованный вираж, чтобы на нее не наехать, он опрокидывается со своим мопедом и получает довольно сильный ушиб. И что же, вместо благодарности за спасение она набрасывается на него с руганью, и вокруг них тотчас собирается целая толпа, которая угрожает Хенрику побоями и обзывает его длинноволосой мартышкой, задать бы ему хорошую взбучку да заставить делом заниматься, а то столько развелось паразитов! Хенрику страшно, одна рука у него в крови, мопед покорежен. Он так любит свой мопед, ухаживает за ним и нянчится как с ребенком, и теперь он старается скрыть слезы, выступившие у него на глазах, а эти люди все не унимаются: как ему не стыдно, пусть он впредь поостережется, они найдут способ его приструнить, видали они таких нахалов. В конце концов его отпускают, заставив попросить прощения у дамы.

Всегда и везде Хенрик аутсайдер. В мотобанде он так и не добился признания, и на работе он пришелся не ко двору, да и у Енса с Гитте он не свой человек. Ему необходимо сделать выбор, где-то закрепиться, найти свое постоянное место, и он знает, что оно должно быть в кругу друзей Енса и Гитте. Но у них совсем другой уровень, чем у него, они говорят на другом языке, умеют выражать свои

мысли так, как он не умеет, потому что никогда этому не учился. Если он действительно хочет стать среди них своим, надо браться за дело всерьез.

Хенрик слышал, что существуют курсы, окончив которые можно получить аттестат, равноценный гимназическому,— вот, пожалуй, что ему нужно. Сначала окончить такие курсы, а потом пойти учиться дальше, заняться, например, социологией или психологией. Он не очень хорошо знает, что это, собственно, за науки— социология и психология, но именно их изучает большинство друзей Енса и Гитте, которые так и сыплют всякими красивыми, необыкновенными словами. Хенрик прекрасно помнит, что в школе он не блистал успехами, но теперь все будет иначе, он это чувствует. Теперь он повзрослел, многое узнал, и у него есть желание учиться, а это главное. Он сам решит вопрос о своем будущем и найдет свое место в жизни, которое все время искал.

Хенрик носитя со своими планами и так ими увлечен, что не может удержаться и рассказывает о них Енсу и Гитте, но те, к его великому разочарованию, не выражают никакого восторга.

— Да ну, зачем,— говорят они,— на что тебе сдался этот паршивый аттестат?

Хенрик не в состоянии сказать в ответ ничего вразумительного, он бормочет, мол, надо учиться, больше знать и все такое прочее, сами-то они, кстати, кончали же зачем-то гимназию?

Они говорят, что это совсем другое дело, да нет, вообще они, конечно, его понимают, но просто им кажется, что, может, лучше бы он оставался в той социальной среде, к которой принадлежит.

— А то получается какая-то ерунда,— говорят они,— стоит появиться рабочему с интересами, выходящими за рамки среднего уровня, как он порывает со своей средой и хочет непременно стать интеллигентом. А нам кажется, ты бы принес больше пользы, оставаясь среди своих, там тоже широкое поле деятельности.

Хенрик плохо понимает, что они имеют в виду, во всяком случае, рабочий лидер из него не выйдет, на этот счет он себя не обманывает. И вообще он не хочет быть рабочим, он хочет получить высшее образование, хочет стать как Енс и Гитте, и никто не заставит его отказаться от своих планов. Обычно Хенрик легко поддается на уговоры, он почти всегда живет чужим умом, но на сей раз он твердо стоит на своем. Он всецело захвачен своей идеей, и никто не способен его переубедить, так что в конце концов Енс и Гитте склоняются перед его решением и помогают разобраться с практической стороной вопроса, касающейся курсов и всего прочего.

— Но только тебе придется попотеть,— говорят они,— ты не думай, это не игрушки.

Но Хенрик так и не думает, он полон энергии и волевой решимости, ему не терпится скорей приняться за дело и показать, на что он способен. К сожалению, похоже, что он единственный, кто действительно верит в успех предприятия, по крайней мере его отец отнюдь не приходит в восхищение, когда Хенрик посвящает его в свои планы.

— Нельзя без конца кидаться от одного к другому,— ворчит он,— раз ты за что-то взялся, надо довести начатое до конца.

— Но ты же сам всегда хотел, чтобы я получил образование,— возражает Хенрик.

— Хотел, когда ты еще в школе учил-

ся,—говорит лавочник,—но ты ведь тогда палец о палец не ударил ради этого.

— А теперь я буду стараться,—с уверенностью говорит Хенрик.

— Ну а если ты все-таки опять начнешь и не кончишь, ты ведь так и останешься ни с чем.

— Но я обязательно кончу,—не сдается Хенрик.

Лавочник умолкает, у него уже столько накопилось нерешенных проблем, что дальше некуда, а тут еще эти курсы. Он и правда всегда хотел, чтобы Хенрик получил высшее образование, но сейчас обстоятельства очень изменились, деньги так и уплывают между пальцев, он каждый день из сил выбивается, чтобы наскрести то на одно, то на другое, и все мало, все не хватает. Теперь вот на машину пришлось истратить порядочную сумму, чтоб ее подремонтировать, это, конечно, ужасно нерационально, выгоднее было бы купить новую, да что же делать, не на что сейчас новую покупать, увы, он вынужден выходить из положения более дорогостоящим способом. Бедность — она всегда дорого обходится.

— Ну и чем же ты думаешь дальше заняться, когда у тебя будет аттестат? — спрашивает лавочник, с трудом возвращаясь к прерванному разговору.

Этого Хенрик еще не решил, есть так много разных возможностей.

— Может, социологией,—говорит он,—или психологией.

Ответ, конечно, неразумный и опрометчивый — отец тотчас вскидывается. Чтоб он про эту психоболтологию от Хенрика больше не слышал, а вздумает заниматься подобной белибердой — пусть на отцовские денежки не рассчитывает. Если бы он еще, к примеру,

захотел стать юристом, ну, это другой разговор. К юристам лавочник относится с уважением, он бы не возражал, чтобы Хенрик выучился на юриста. Стал бы адвокатом, прекрасное занятие, и недостатки немалые, а уж психология — лавочник довольно смутно представляет себе, что такое психология, но зато он знает, как выглядят студенты-психологи, и пусть лучше Хенрик сразу выкинет это из головы.

Хенрику ясно, что он свалил дурака, и он торопится исправить промах: вполне возможно, он выберет как раз юридическое образование, он уже и сам об этом думал.

— Гм,—лавочник смягчается и делается уступчивей,—и сколько же надо платить за эти курсы?

Хенрик точно не знает, но там есть и бесплатные места, и, кроме того, можно попробовать выхлопотать пособие.

— Ну да, но ты же и кормиться должен,—говорит его отец,—и одеваться, и деньги иметь на мелкие расходы. Я так понимаю, что это все будет из нашего кармана.

Хенрик тоже так понимает, но ему, говорит он, не так уж много нужно, и потом он, наверно, сам сможет немножко зарабатывать, хотя бы во время каникул.

Фру Могенсен, которая до этого момента не принимала участия в обсуждении, теперь тоже подает голос: не настолько же они бедны, чтобы у них не хватило средств прокормить Хенрика, пока он получает образование, он ведь у них все-таки единственный сын.

— Разумеется, мы не настолько бедны!—воскликает лавочник, распаляясь. Пусть только кто-нибудь посмеет сказать, что у него нет средств дать своему сыну высшее образование! Но деньги тут вовсе ни при чем,

тут вопрос принципиальный: Хенрик ведь уже учится, он получает профессиональное образование.

Однако, как ни верти, его возражения выглядят так, будто все упирается в деньги, и это решает исход дела. Он не какой-нибудь вшивый голодранец и в состоянии оказать помощь своему единственному сыну — и кончается тем, что Хенрик получает разрешение записаться на курсы.

До начала занятий еще несколько месяцев, и отец настаивает, чтобы Хенрик покамест продолжал работать на прежнем месте, пусть не воображает, что можно теперь лодыря гонять. Быть может, лавочник втайне надеется, что к тому времени у Хенрика пропадет весь пыл. Но пыл у Хенрика не пропадает, наоборот, он горит нетерпением, дожидаясь момента, когда можно будет распрощаться с красками и вонючими растворами, со всей этой ужасной скучищей, чтобы посвятить себя учебе, и он все более проникается уверенностью, что правильно выбрал свой путь. Раньше Хенрик не любил ходить в школу, а теперь он заранее радуется тому, что снова сядет за школьную парту. На этот раз он будет стараться, будет прилежно учить уроки и, набравшись знаний, перерастет ту среду, в которую он оказался заброшен, и дорастет до среды, к которой принадлежат Гитте и Енс и их друзья. И наступит день, когда он сможет разговаривать с ними, как равный с равными, принимать участие в их спорах и высказывать собственное мнение, употребляя красивые слова, понятные лишь ему и им. И наступит день, когда он вместе с ними будет переустраивать общество, да, да, он еще себя покажет, дайте только срок.

Лавочнику худо, последнее время на него обрушилось столько трудностей, что здоровье его заметно пошатнулось. Он давно уже слегка недомогал, а тут он вдруг совсем расклеился. И желудок не в порядке, и голова болит, и шум в ушах, и одышка, а иной раз и боли в области сердца, да так прихватит, что прямо хоть с жизнью прощайся. Сперва он сваливал все на возраст, никуда не денешься, организм начинает понемногу сдавать, но постепенно ему становится ясно, что он серьезно болен и надо срочно что-то делать, а то как бы не было поздно. Жена тоже обращает внимание, что у него нездоровый вид, она очень за него беспокоится и настаивает, чтобы он сходил к врачу, и лавочник обещает, да все никак не может собраться. Он так плохо себя чувствует, что даже визит к врачу для него сейчас непосильная тяжесть, а возможно, он к тому же боится услышать всю правду о своем состоянии: что он на белом свете не жилец и протянет разве что месяца два или три, не больше.

У лавочника и без того сплошные неприятности, он боится, что лавка долго не просуществует, а у него уже годы не те, чтобы браться за новое дело. Может, он и найдет себе работу, но какую, вот в чем вопрос, трудно ведь, когда привык к самостоятельности. Как-то вечером по телевидению была передача, в которой речь шла о том, что надо уметь переучиваться. Умные люди с учеными дипломами рассказывали об изменениях, происходящих в обществе, подчеркивая, что человек не должен отставать от общественного развития. Он должен приспосабливаться к меняющимся условиям, говорили они, имея в виду

людей без дипломов. Перед ними самими, надо полагать, подобные трудности не возникают, ведь общество изменяется в таком направлении, что будет постоянно расти нужда в ученых консультантах вроде них, консультантах по семейным и социальным вопросам, а также по проблемам трудоустройства, и во всяких прочих дипломированных специалистах, чтобы наставлять простых людей, каким образом им следует приспособливаться. Оплачивается этот труд неплохо, да вдобавок есть возможность подзаработать, повторяя те же наставления по телевидению.

Но лавочник не хочет приспособливаться к меняющимся условиям, это не для него, он слишком для этого стар, и к тому же слишком измочален. Он желает только одного — сохранить в целости свой магазинчик. Но никто не может его наставить, как ему следует себя вести, чтобы желание его исполнилось.

У лавочника столько огорчений, что он просто изнемогает. Живут они явно не по средствам, так долго продолжаться не может. Магазин пока не приносит убытка, он все еще дает небольшую прибыль, но она чересчур мала для покрытия их расходов, и получается, что они постоянно изымают деньги из торговли. Не сегодня-завтра он увязнет в долгах по самые уши, если только вдруг не наступит крутой перелом. Жена его всегда была очень бережливой и благоразумной хозяйкой, а сейчас, когда им особенно важно соблюдать экономию, она, как нарочно, пустила все на самотек. Правда, она не знает, какое у них катастрофическое положение, он ей так ничего и не рассказал, но зато он ей все время твердит, что время сейчас очень напряженное, не только для них, но для всех торговцев, даже крупные предприятия и супермаркеты испы-



тывают большие трудности. Тем не менее она почему-то не понимает или не хочет ничего понимать, говорит, мол, жить-то им надо, а все стало ужасно дорого,— и у него не хватает сил стукнуть по столу кулаком. Да и то сказать, ей всю жизнь приходилось экономить, они же все средства вкладывали в магазин в надежде, что настанет день, когда они будут вознаграждены сторицей. Да, нелегко признаться себе в том, что награды они так и не дождутся.

А тут еще Хенрик. Он не отказался от намерения учиться, и лавочник, собственно, ничего не имеет против, но опять-таки встает вопрос о деньгах. И потом Хенрик стал совсем ненормальный с тех пор, как повадился ходить в квартиру над ними, одни его длинные патлы чего стоят, а уж какую он несурaziцу иной раз несет — уши вянут. Лавочнику не нравится, что Хенрик постоянно торчит наверху, ему не дает покоя вопрос, чего они хотят от его сына, на что его толкают. Он боится, как бы они не сделали Хенрика наркоманом, и сердце его болезненно сжимается при одной мысли о том, что они могут вовлечь парня в свои групповые оргии. Сам он воспитывался в эпоху, когда воскресные газеты в рубрике «Почтовый ящик для женщин» настоятельно советовали молодым девицам не позволять ухажеру себя целовать, пока они не удостоверятся в том, что у него серьезные намерения, и его шокирует распушенность современной молодежи. С наибольшим удовольствием он бы запретил Хенрику бывать наверху, но он знает, что это бесполезно, и чувствует свое полнейшее бессилие во всех отношениях и свою неспособность влиять на ход событий.

Лавочник так и не оправился окончательно от потрясения, пережитого в супермаркете, и

стоит ему вспомнить унижительный эпизод, как его начинает бить дрожь. Он чувствует, что никогда не успокоится, если не отомстит, и в его воспаленном мозгу рождаются планы мщения, один нелепей другого. Однажды, будучи взвинчен до предела, он хватает телефонную трубку и набирает номер супермаркета. Ему пришла в голову идея: он им скажет, что подложена бомба, которая взорвется через десять минут, а чтобы его не узнали по голосу, он будет говорить с карандашом во рту. Но когда супермаркет отвечает ему, вся его решимость мигом улетучивается, и вместо приготовленных слов он бормочет извинения за то, что будто бы не туда попал. Господи, даже на телефонную бомбу и то его не хватает.

Но не успевает он положить трубку, как тут же начинает злиться на себя за малодушие и через два-три дня делает новую попытку. Он выискивает картофелину подходящего размера, тщательно моет ее и засовывает в рот, а затем набирает номер, и когда секретарша отвечает, что это супермаркет, он, расхраб्रившись, произносит с картофелиной во рту:

— У ваф омма, фээф вэфаф мыуф ваввоффа!

— Простите,— секретарша не расслышала, и лавочник повторяет свое сообщение. Но секретарша все равно не может разобрать, что речь идет об опасной бомбе, которая через десять минут взорвется, и лавочник слышит, как мужской голос спрашивает ее, в чем там дело, а она отвечает, что кто-то так странно говорит, ну прямо будто у него рот набит картошкой. И тогда лавочник бросает трубку, сидит и потерянно смотрит перед собой и только спустя некоторое время вспоминает о картофелине и выплевывает ее.

Если б хоть было с кем поговорить обо всем том, что его мучает, но он упустил удобный случай тогда, на даче, а теперь слишком поздно, и он один должен нести бремя невзгод. Но если человеку не с кем разделить свои невзгоды, они могут чересчур больно его придавить — самочувствие лавочника все ухудшается, и по настоянию фру Могенсен он наконец идет к врачу.

В приемной сидит множество больных, и лавочнику приходится долго ждать, а когда подходит его очередь, он не успевает даже толком изложить доктору свои жалобы — тот ставит диагноз, не дослушав. Это стресс, объясняет он, самая распространенная болезнь нашего века, надо постараться сбавить немножечко темп.

— Да, но... — лавочник все еще не теряет надежды хотя бы перечислить все те места, где у него болит, однако врач уже выписал рецепт на какие-то таблетки, которые надо принимать три раза в день.

И вот лавочник принимает таблетки три раза в день. От таблеток он чувствует отупение, голова делается какая-то мутная, но желудок работает по-прежнему плохо, и сердце болит, и одышка мучает, и он вынужден снова пойти к врачу. Уж на этот раз он расскажет все про свои болезни, должен же кто-то выслушать его, в конце-то концов на то и врачи, чтобы выслушивать жалобы больных.

Но врачу некогда слушать лавочника, у него у самого нервный тик, легко ли, в приемной сидит три десятка пациентов, у которых желудок плохо работает, шум в ушах и сердцебиение, и ему надо успеть всех их принять. Здесь и работающие замужние женщины, которые вертятся как белка в колесе и ничего не

успевают: по дороге домой с работы им надо зайти купить продукты, а потом еще постирать, сварить обед, прибраться в квартире и помочь детям приготовить уроки; здесь и домашние хозяйки, которых совесть мучает оттого, что им не надо ходить на работу и дел у них почти что никаких, а они все равно не управляют, и хозяйство приходит в запустение. Здесь и мужчины, вынужденные подрабатывать, чтобы было чем платить за машину, купленную ими в рассрочку, или страдающие бессонницей оттого, что не знают, где раздобыть денег на своевременное погашение ссуды, взятой ими для покупки своего чересчур дорогого дома; или же мужчины, у которых нервы не в порядке, потому что они живут с женой и тремя детьми в двухкомнатной квартире, а на большую квартиру нет средств. Людям приходится тяжело, да и сам врач измотан донельзя, он выписывает всем подряд рецепты на таблетки, а из головы не выходят медицинские журналы, которые копят у него на тумбочке, а он их никак не удосужится прочесть, да еще новая моторная лодка, которая, прямо надо сказать, чересчур для него дорога. И лавочнику он тоже выписывает рецепт на новые таблетки, уверяя, что эти ему обязательно помогут.

— И постарайтесь все-таки поменьше волноваться,— добавляет он,— мы ведь с вами моложе не становимся, настает пора, когда, хочешь не хочешь, приходится сбавлять темп. А чтобы совсем ничего не беспокоило, так этого же просто не бывает.

— Я понимаю,— говорит лавочник,— мне только кажется...

— Да, да, я знаю, что вы хотите сказать,— перебивает его врач,— вам кажется, что вы себя чувствуете хуже других, но

только напрасно вы так думаете. У каждого свое, всем нам несладко, и мне тоже. У меня вот давно уже боли в пояснице, да такие, что хоть караул кричи, и что же, думаете, мне ясно, в чем дело? На всякий случай я попросил одного коллегу, чтобы он меня посмотрел, но и он ничего не может найти. Ты, говорит, абсолютно здоров, и я, конечно, рад это слышать, но факт остается фактом: боли не проходят. Спрашивается, что мне с этим делать?

— Н-да-а,— уклончиво отвечает лавочник, думая про себя, что он не самый подходящий советчик в вопросе о болях, мучающих доктора.

— Вот здесь, в этом месте,— показывает врач,— будто жжение какое-то, и расходится по всей пояснице.— Тут он, по-видимому, вспоминает, что врач-то он, и прерывает демонстрацию своих недугов.— Но попробуйте принимать эти таблетки,— говорит он,— увидите, они вам помогут.

Новые таблетки оказывают на лавочника очень сильное действие. Он чувствует полнейшее оупение и погружается в какую-то странную апатию, ничто его не интересует. Дома он тих и молчалив, ест совсем мало и весь вечер проводит у телевизора, не особенно вникая в содержание передач. Он смотрит последние известия, сельскохозяйственную программу, международное обозрение, детективные фильмы, балет и передачи об искусстве. Телепрограммы должны быть разносторонними, таково требование Положения о радиовещании и телевидении, и поэтому каждый вечер начиная с половины восьмого на экране, безостановочно сменяя друг друга, мелькают самые разнокалиберные передачи. Они не прерываются ни на секунду. Не успел

исчезнуть с экрана последний поросенок, как телезрители попадают на бал в сельском кабачке, а всего через четверть секунды после окончания бала некий ученый муж уже разглагольствует о старости и связанных с нею проблемах или же передают беседу с поэтом, который старается подходчивее объяснить, почему он такой превосходный поэт. В общем, информация, культура и развлечение — все вперемешку, но лавочник не в состоянии сосредоточиться, и до его сознания мало что доходит.

Он утратил почти всякий контакт с окружающими, замкнулся в себе и очень неохотно вступает в разговор. За целый вечер он редко когда скажет что-нибудь жене, у него не хватает даже сил возмущаться Хенриком, хотя тот выглядит совершенно чудовищно со своими длинными космами. Единственное, чего хочется лавочнику, это покоя, тишины и покоя, чтобы никто его не трогал и не надо было беспрерывно решать какие-то проблемы.

И то же самое в магазине. Покупатели ему теперь чуть ли не в тягость. Обслуживает он их вяло, безучастно, не завязывая, как прежде, беседы. Случается, он подает им не те продукты или неправильно отсчитывает сдачу, а когда они обращают на это его внимание, он молча исправляет ошибку, даже не утруждая себя извинениями. Это совсем не на пользу торговле, в его положении не стоило бы отталкивать последних покупателей, и лавочник отдает себе в этом отчет. Но он не в силах ничего с собой поделать, он не может выйти из дремотного состояния, в котором постоянно теперь пребывает.

Однажды в лавку заходит знакомый агент небольшой оптовой фирмы. Они знают друг

друга много лет, и лавочник относится к нему с симпатией и имеет обыкновение заказывать у него что-нибудь, даже когда это не особенно нужно. И вот агент, закончив переговоры и уложив обратно образцы товаров, протягивает лавочнику руку со словами:

— К сожалению, я у вас сегодня последний раз. Позвольте поблагодарить вас за доброе отношение и приятное сотрудничество.

— То есть как,—говорит лавочник, тупо уставившись на агента,—вы больше не будете ко мне приходить?

— Меня вышибли,—говорит агент.

— Вышибли?

— Уволили меня,—объясняет агент.

Лавочник шире раскрывает глаза и словно бы пробуждается от своей дремоты. Уволить такого симпатичного агента—уму непостижимо!

— Но почему?—спрашивает он.

— Наша фирма сворачивает дела,—говорит агент,—времена-то нынче для мелких предприятий не самые лучшие. Вы, вероятно, по себе чувствуете.

Лавочник кивает, еще бы не чувствовать.

Агент секунду смотрит на него в нерешительности.

— Не знаю,—говорит он затем,—может, вы бы позволили мне угостить вас на прощание бутылочкой пива. Если, конечно, у вас есть время.

Лавочник кивает, при всем своем отупении он не может не видеть, что агенту сейчас до крайности нужно с кем-нибудь поговорить. Он жестом приглашает гостя пройти в комнату. Потом приносит две бутылки пива и отказывается брать за них деньги, но агент настаивает: он же сам вызвался угощать.

— Да-а,—начинает он, отхлебнув глоток,—у них ведь давно уж дела идут со скрипом, и теперь вот они додумались укрупнить районы, которые обслуживает каждый агент, ну я и полетел.

— Да, но почему именно вы?—Лавочник опять словно бы пробуждается.

— А почему кто-нибудь другой,—с унылой покорностью отвечает агент,—кого-то надо же им увольнять, а меня выбрали, наверно, потому, что я ведь уже немолод. Вылетают ведь как правило старики, да и то сказать, молодые—они энергичней, подвижней. Так что вроде и возразить нечего.

— И возразить нечего!—с горечью повторяет лавочник, стряхивая с себя остатки дремотного отупения. Вот она, тема, еще способная его взволновать: молодые так прытко рвутся вперед, что старикам скоро совсем житья не будет. Молодежь нынче—пуп земли, центр, вокруг которого все вращается; да неужто мириться с этим безобразием? Когда он сам был молодым, центральные позиции занимали старики, а молодым полагалось стоять в сторонке, почтительно сняв шляпу. Теперь же, когда он почти состарился и вроде подошла его очередь, теперь всем заправляют молодые, а старики только под ногами путаются, для них и места-то в жизни не осталось. Лавочнику в эту минуту кажется, что для него никогда не находилось места в жизни, ни тогда, ни сейчас, и он приходит в такое возбужденное состояние, какого у него ни разу не было с тех пор, как он начал принимать по три таблетки в день.

— Я считаю, это просто безобразие!—возмущенно восклицает он.—Это переходит всякие границы!



Агент пожимает плечами: а что можно сделать?

— Ну и как же вы теперь?—спрашивает лавочник, постепенно впадая в прежнюю апатию.

— Не знаю,—говорит агент,—я, конечно, тыкался в разные места, но мне непросто что-нибудь найти. Как-никак за пятьдесят перевалило.

Они в молчании допивают пиво, и лавочник считает себя обязанным со своей стороны поставить гостю бутылку. Агент, по-видимому, не привык пить в такой ранний час, пиво быстро развязывает ему язык.

— Что и говорить, для меня это было тяжелым ударом. Вероятно, я должен был это предвидеть и заранее быть к этому готов, но я почему-то никогда не мог себе представить, что в один прекрасный день вот так окажусь на мели. Безработица—да, я знал, что она периодически обрушивается на рабочих, но чтобы я сам мог остаться без работы, это не укладывалось у меня в голове. И вот нате вам, я безработный, да еще и в худшем положении, чем рабочие, пособие-то мне не положено. У нас есть небольшие сбережения, мы всегда жили экономно, но этих денег хватит ненадолго, а что будет потом...

У агента слезы выступают на глазах, и лавочник чувствует мучительную неловкость.

— Вы только не падайте духом,—говорит он,—наверняка что-нибудь подвернется.

Агент качает головой и вдруг начинает плакать по-настоящему.

— Я всю жизнь был неудачником,—всхлипывает он,—и агент из меня был никудышный. Мои дети это понимают, я же знаю, они ни во что меня не ставят. И жена тоже понимает, хотя никогда мне ничего не гово-

рит, но теперь, когда стряслась эта беда, я прекрасно вижу, что она обо мне думает. Ей ведь тоже нелегко: непонятно, на что мы дальше будем жить, и если бы только это, а то еще и как соседи посмотрят, да мало ли всякого... Нет, я не могу быть в претензии, если она меня презирает, она имеет на это полное право, я же и сам знаю, что ничего путного из меня не вышло.

Лавочник чувствует себя ужасно неудобно. Он неуклюже похлопывает агента по плечу.

— Ну-ну, полно,—говорит он,—вы не должны впадать в отчаяние. Увидите, все еще устроится.—Он, конечно, представления не имеет, как это может устроиться, но надо же что-то сказать в утешение.

Агент берет себя в руки и, стараясь сдерживать слезы, вытирает глаза рукой.

— Простите меня,—говорит он смущенно,—это все нервы. Я сейчас в страшно подавленном настроении, а иногда так нужно с кем-нибудь поговорить, облегчить сердце. Сам не знаю почему, когда я заходил к вам с образцами товаров, у меня часто возникало ощущение, что вы и я—мы друг друга понимаем, но работа есть работа, мои личные переживания были ни при чем, и мне бы, конечно, в голову не пришло разговаривать с вами вот так, как сегодня, пока между нами существовали деловые отношения. Но теперь-то я могу вам признаться: у меня никогда душа не лежала к торговле; о чем я всегда мечтал, так это быть школьным учителем.

— Школьным учителем,—повторяет лавочник, пытаясь представить себе агента в роли учителя.

— Да, работать в школе,—говорит агент,—я очень люблю детей, мне кажется,

из меня бы получился хороший учитель. Но у моих родителей не было возможности дать мне образование, и я пошел по торговой линии. Не скрою, я был чрезвычайно горд, когда меня сделали агентом фирмы, но в действительности эта работа была не по мне. Я страшно волновался перед каждым своим визитом к клиенту, я иногда подолгу стоял на улице, у дверей магазина, набираясь храбрости, чтобы войти. Я недостаточно напорист, не в меру скромн, не в меру застенчив, все это не годится для торгового агента. Он должен уметь брать людей за горло, а я никогда этого не умел и сам первый в этом признаюсь. Так что, если выгоняют именно меня, тут трудно что-нибудь возразить.

Глаза агента вновь наполняются слезами, и лавочник, не зная, что придумать, идет и приносит еще две бутылки пива. А гость даже не замечает, что перед ним опять новая бутылка. С отрешенным видом он прикладывается к ней и продолжает свои взволнованные излияния. Лавочнику несколько раз приходится выходить, чтобы обслужить покупателя, а когда он возвращается, агент все так же сидит и говорит. Он, по-видимому, не слышит и не видит, что лавочник какое-то время отсутствует.

Но вот он словно приходит в чувство: оборвав фразу на середине, он смотрит на часы, и на лице его изображается испуг.

— О господи, я совсем заболтался,—говорит он,—столько времени у вас отнял. Вы уж, пожалуйста, меня извините, сам не знаю, что со мной творится.

— Ну что вы, ничего,—говорит лавочник,—в это время дня покупателей немного.

— Все равно,—говорит агент,—да мне и самому пора двигаться. Мне надо успеть в

несколько мест, я же пока еще торговый агент.

Он поднимается, и лавочник провожает его до двери. Агент с чувством пожимает ему руку.

— Еще раз спасибо за доброе сотрудничество,—говорит он,—и за то, что вы меня выслушали.

Лавочник желает ему всяческих успехов и не слишком определенно приглашает заглядывать время от времени, рассказывать, как у него дела, и агент заверяет, что непременно воспользуется приглашением. Наконец он всерьез собирается уходить, но в дверях оборачивается и спрашивает лавочника:

— Заметно по мне, что я плакал?

Лавочник смотрит в покрасневшие глаза со следами невысохших слез—и отрицательно мотает головой.

— Но если у вас есть носовой платок,—говорит он,—то можно чуточку отереть глаза.

Агент безуспешно пытается найти платок, и лавочник вынужден дать ему свой. Он не совсем чистый, но агент искренне благодарен.

— Не понимаю, куда я свой задевал,—бормочет он,—жена положила мне утром чистый, я же прекрасно помню.

— А вы оставьте себе мой,—говорит лавочник,—вдруг он вам еще пригодится.

— Я вам его занесу,—говорит агент,—обязательно занесу, выстиранный и выглаженный. Спасибо, вы так ко мне добры.

Наконец он удаляется. Пока он переходит улицу, лавочник, стоя у стеклянной двери, провожает взглядом его понурую фигуру. Конченный человек, думает он, отчаялся и сложил оружие. А ведь он и сам был близок к отчаянию, он вдруг ясно видит, как близок он

был к отчаянию, к капитуляции. Но он же всю жизнь был поборником свободного предпринимательства; всякий сам кузнец своего счастья—вот его девиз. Ну нет, он не хочет кончать свои дни плаксивым недотепой вроде этого агента, он еще повоюет. Не может быть, чтобы все было потеряно, должен найтись какой-то выход, пусть он не сумеет одолеть супермаркет в конкурентной борьбе, но он докажет, что места хватит для них обоих. Он не даст так просто себя задавить, он примет вызов. Пока еще он не знает, что именно он предпримет, но он твердо решил действовать. Нужно подновить свой магазин в соответствии с требованиями времени, в какой-то форме ввести самообслуживание, раз уж людям это по нраву. Самое бы лучшее полностью переоборудовать и модернизировать магазин, но на это нужно много денег, а у лавочника денег нет. Он имеет текущий счет в банке, но его то и дело уведомляют о превышении кредита, и, чтобы уладить дела с банком, он вынужден оттягивать оплату счетов поставщикам, но это возможно лишь до тех пор, пока они на него не насядут. Вот так и идет все последние годы: сегодня немножко в банк, завтра заплатить нетерпеливому поставщику или же внести квартирную плату. Нет, так хозяйничать не годится, это только силы выматывает. Магазин вполне жизнеспособен, говорит себе лавочник. Вызванный новизной интерес к супермаркету постепенно схлынет, и тогда покупатели вернутся. Но, чтобы устоять, необходим капитал, без достаточного капитала торговлей заниматься невозможно. Он завтра же переговорит с банком, на то ведь они и существуют, банки, и уж он сумеет добиться своего, как умел это делать прежде. Он твердо решил не сдаваться без боя.

Вернувшись к себе в комнату, лавочник замечает трубочку с таблетками, прописанными ему врачом, и секунду стоит смотрит на них. Эти таблетки — не выход из положения, думает он, не так ему надо решать свои проблемы. Он берет стеклянную трубочку и хочет швырнуть ее в мусорное ведро, но в последнее мгновение передумывает — это, пожалуй, все-таки слишком — и прячет таблетки в ящик письменного стола, сует подальше, за вороха бумаг, где их потом и не отыщешь. Ну вот, теперь он готов начать новую жизнь.



**ЧАСТЬ  
ВТОРАЯ**







«Закрыто на ремонт и переоборудование» — табличка с такой надписью висит на двери в лавку Могенсена. Люди подходят и останавливаются.

— Вон как, — говорят они, — лавочник-то наш ремонт затеял. А я уж, признаться, думал, он вот-вот совсем закроется.

— Это бы было ужасно жаль, — говорит кто-то из подошедших, — сколько я себя помню, все время тут его магазинчик, без него бы сразу стало не то.

— Да ну, у него все дорого, — говорит какая-то дама, — если покупать в супермаркете, на каждой пачке сахара экономишь двенадцать эре, и так со всеми продуктами.

— В супермаркете! — подхватывает кто-то из мужчин. — А вам известно, что за этим супермаркетом стоит американский капитал?

— А по мне хоть китайский, не все ли равно, — парирует дама, — раз я могу покупать у них сахар на двенадцать эре дешевле.

Другой мужчина ввертывает что-то насчет России и вступает в перепалку с тем, который утверждает, что супермаркет связан с американским капиталом. Дама вначале прислушивается к спору, но ей это скоро наскучивает.

Ее не интересует мировая политика, да и вообще никакая политика, голосует она обычно за радикалов, а так ее больше всего занимают цены на сахар и подробности быта королевской фамилии. И пришла она сюда исключительно затем, чтобы купить новые журналы, а тут, видите ли, закрыто.

— По-моему, это все-таки безобразие, просто так взять и закрыть,—говорит она, но мужчины ее не слушают, они уже вплотную приблизились к решению вьетнамской проблемы, а это требует умственного напряжения. Невозможно одновременно обсуждать вопросы, волнующие эту даму.

Дама пытается заглянуть, что делается в лавке, но окна чем-то занавешены и увидеть ничего нельзя, поэтому она с оскорбленным видом уходит искать журнальный киоск, чтобы выяснить, что подделывала высочайшая фамилия на прошлой неделе.

Если бы даме удалось подсмотреть, что происходит за занавешенными окнами, она бы увидела лавочника Могенсена и его жену в самый разгар работы. Они что-то передвигают, устанавливают стеллажи, выгребают грязь и наводят порядок. Они трудятся не разгибая спины, но лавочник в отличном расположении духа, он насвистывает и мурлычет себе под нос, он находит время пошутить с женой, а иногда спрашивает у нее совета, как лучше сделать то или другое.

— Как по-твоему, если вот сюда поставить—ничего будет?

— Пожалуй, лучше подвинуть чуточку в обратную сторону,—отвечает жена.

И лавочник с готовностью, без возражений подвигает полки чуточку в обратную сторону.

— Теперь хорошо?—спрашивает он, и фру Могенсен кивает. Давно уже она не получала

такого удовлетворения от жизни, как сейчас. Они опять работают вместе, как в те годы, когда они только начинали, она опять стала нужна и больше не чувствует себя лишней.

— По-моему, довольно красиво получается,— говорит она,— мне кажется, у нас будет хорошо.

— Даже наверняка!— жизнерадостно восклицает лавочник.

Лавочника не узнать, он начал новую жизнь, и теперь все у него будет по-иному. Лавка должна обновиться и похорошеть, у нее был слишком невзрачный и старомодный вид, так оставлять было нельзя. Побольше света и воздуха, открытый доступ к товарам, чтобы покупатель смотрел и соблазнялся,—таковы требования сегодняшнего дня. Нравится не нравится, надо шагать в ногу со временем; те же преимущества, что у супермаркета, в соединении с уютной и интимной обстановкой маленького магазинчика— вот в чем для него решение проблемы. Мелкие торговцы всегда будут нужны, если они только не будут цепляться за прошлое, полагая, что можно продолжать вести торговлю по старинке.

Да, наш лавочник—оптимист. Он сумел договориться с банком, не совсем так, как он надеялся, но и эта малость—все же какое-никакое подспорье на первый случай. А задача была не из легких, мелкие торговцы—не та клиентура, которая пользуется благосклонностью банков, интересы финансовых дельцов лежат в иных сферах, и ему пришлось проявить максимум настойчивости и пустить в ход все свое умение убеждать, чтобы добиться успеха. Но лавочник может, когда надо, выказывать упорство, он умеет постоять за себя—раньше умел и теперь опять умеет. Период, когда он предавался жалости к себе и

пессимизму, остался позади и никогда не вернется. Он снова стал самим собой и покажет, на что он способен.

Лавочнику и о поставках удалось договориться со своим главным поставщиком. Правда, для того, чтобы это пробить, ему пришлось подписать вексель. Срок векселя истекает через три месяца, и к тому времени он должен собрать деньги. Лавочник никогда не любил векселей. Не давать поручительств и не подписывать векселей — таков был один из его принципов. А теперь он, стало быть, ему изменил. Что ж, подобного рода предрассудки, видимо, устарели, нынче с ними далеко не уедешь, да у него и выбора не было, а три месяца — срок долгий, до тех пор многое может измениться. Ничего, выкрутимся — лавочник полон молодого оптимизма и веры в будущее. Никогда не нужно расстраиваться авансом, лучше каждый день заниматься решением сегодняшних проблем. Нужно твердо себе сказать, что все получится, тогда и вправду получится.

Лавочник Могенсен стал совсем другим человеком. За работой он бодро насвистывает, а вечерами у себя дома он весел и разговорчив. Он похваливает еду и с интересом расспрашивает Хенрика, как у него дела, ведь Хенрик простился наконец с малярной мастерской и начал заниматься на курсах.

— Ну и как тебе там, — спрашивает отец, — трудно?

— Даже не знаю, — мямлит Хенрик.

Хотя исполнилась его заветная мечта, он по-прежнему ходит кислый, ни радости, ни благодарности, и раньше бы лавочник, конечно, не стерпел, а сейчас его ничем не проймешь.

— Если я могу тебе чем-нибудь помочь,—говорит он,—так ты скажи. С языками я тебе, понятно, помочь не могу, но считать-то я уж во всяком случае умею. У вас же есть математика?

— Есть.—отвечает Хенрик.

— Ну и как, трудно?

— Да так,—Хенрик пожимает плечами.

— Если у тебя что-нибудь не выходит, можешь меня спрашивать,—говорит лавочник.—Что-что, а считать я умею, вот в языках я тебе не помощник. Жаль, знал бы я хоть немножко английский, у вас ведь есть английский язык?

— Ну конечно, —говорит Хенрик.

— А еще у вас что?

Хенрик не может с ходу все припомнить: ну немецкий, потом география, история и еще там всякое.

— Да, сложа руки сидеть не придется,—говорит его отец,—на этот раз тебе уж надо как следует приналечь.

— На что приналечь?—спрашивает Хенрик.

— Я хочу сказать, на этот раз надо постараться аккуратно учить все уроки,—поясняет лавочник.

— А-а,—откликается Хенрик.

Даже кислый вид Хенрика не способен испортить лавочнику настроение, он сейчас чувствует себя на высоте, и не так-то просто выбить его из колеи. Телевизионные программы — и те, на его взгляд, заметно улучшились в последнее время, впрочем, совсем не обязательно сидеть весь вечер, воткнувшись в экран. Мало ли чем можно дома заняться.

Нет, лавочника не вышибешь из колеи, он знает, чего он хочет, умеет жить и верит в будущее. Теперь все у него будет хорошо.

Жизнь фру Могенсен тоже совершенно переменялась. Давно ли она часами простаивала у игорных автоматов, переводя понапрасну деньги в надежде выиграть полный банк. Совала в прорезь монетку за монеткой, тянула за ручку, смотрела на колеса, которые крутились и останавливались, не принося никакого выигрыша. Она пробовала снова и снова, она не сдавалась, и иногда небольшой выигрыш все же выпадал, но ей было мало, ей нужен был полный банк, самый крупный выигрыш, который она ни на что не могла употребить.

С этим покончено, она больше не чувствует себя лишней, и ей незачем пытаться счастье в бессмысленной игре. Муж ей сказал:

— Мы все начинаем сначала, и ты мне будешь нужна. Ты должна мне помочь.

И вот теперь они вместе трудятся в лавке с утра до вечера, и все стало почти как в те времена, когда они только начинали. Дел пропасть, лавка у них в запущенном состоянии, все какое-то грязное и обшарпанное, куда ни ткнись — кавардак и неразбериха. Фру Могенсен вывозит грязь и наводит порядок, а ее муж передвигает вещи и устанавливает стеллажи. Они так уходят в работу, что иной раз забывают вовремя поесть, и только уже далеко за полдень фру Могенсен вдруг чувствует, что ужасно проголодалась.

— Объявляется перерыв! — кричит она мужу, и лавочник останавливается и удивленно взглядывает на часы. Подумать только, как уже поздно.

Они усаживаются в задней комнатухе и достают бутерброды. Фру Могенсен готовит их дома утром, стараясь сделать повкусней. Ведь они с мужем не зря едят свой хлеб.

— Возьми себе бутылочку пива, — говорит она, — ты сегодня хорошо поработал.

Но лавочник отказывается, зачем ему пиво.

— Я лучше возьму бутылку лимонада,— говорит он.— Лимонад, в сущности, отличный напиток, ни к чему тратиться на пиво.

Лавочник приносит бутылку розового лимонада, а вчера он пил желтый. У него и зеленый есть в кладовой, правда, выглядит он жутковато, но надо будет все-таки завтра попробовать, каков он на вкус. Пока они закончат переоборудование магазина, лавочник станет крупным специалистом по лимонаду.

— Дела подвигаются неплохо.— Он отхлебывает розового лимонада и разворачивает свои бутерброды.

— Ты только смотри не перетрудишься,— говорит ему жена,— не забывай, что тебе уже не двадцать лет.

— Нам ведь нельзя долго тянуть,— говорит лавочник,— пора кончать да открывать магазин, а то всех покупателей растеряем.

Супруги сидят подкрепляются, и на душе у обоих тепло и хорошо. Они разговаривают о будущем и вспоминают прошлое.

— А помнишь, когда мы только купили магазин,— говорит фру Могенсен,— ох и поработали мы с тобой.

— Да, славное было время,— говорит лавочник,— мы тогда верили в успех, мы были оптимисты.

— Но ты ведь и сейчас оптимист, правда?

— Да,— отвечает лавочник,— я опять стал оптимистом.

— Теперь все у нас пойдет на лад,— говорит она, похлопывая его по плечу.

Потом фру Могенсен делает кофе, а к кофе у нее припасены пирожные. Ей так хочется, чтобы удержалась атмосфера дружбы и доверия между ними. Ведь они чуть не сделались чужими друг другу. Теперь они снова могут



обо всем разговаривать, и хорошо бы сохранить такие отношения и никогда не доводить до того, чтобы у них не оставалось общих интересов.

— Почему ты мне не рассказывал, что дела идут из рук вон плохо? — спрашивает она.

— Я думал, ты и так все видишь.

— Да, но почему ты не хотел со мной поговорить? Почему ты от меня таился?

— Кому же охота признаваться в собственном поражении, — отвечает лавочник.

— Ведь когда с кем-нибудь поделишься, сразу на душе легче становится. Раньше мы, помнишь, все и решали и делали вместе, и сейчас, слава богу, опять так стало. Нельзя допускать, чтобы каждый уходил в собственную скорлупу.

— Это верно, — соглашается лавочник.

— Обещай, что в будущем, если что не так, ты мне сразу будешь рассказывать.

И лавочник обещает. Он и сам видит, что им обязательно нужно вместе обсуждать все проблемы, впрочем, он не думает, чтобы в будущем у них могли возникнуть особые трудности. Ему почему-то, ни с того ни с сего, приходит на память позорный эпизод в супермаркете. Он не рассказывал о нем жене, а откройся он ей сразу, так, может, давно бы и думать о нем забыл. Лавочник в нерешительности: что, если рассказать ей сейчас, когда он уже в состоянии взглянуть на это происшествие более хладнокровно?

— Я тут однажды... — начинает он, но осекается и не может заставить себя продолжать. Нет, лучше постараться забыть досадную историю, к чему ворошить прошлое.

— Что ты сказал? — Она смотрит на него вопросительно.

— Да нет, это я так, насчет новой расстановки, я тебе потом покажу.

Фру Могенсен продолжает на него смотреть. Это ли он хотел ей сказать или, может быть, что-то другое? Что она, собственно, о нем знает? Нет ли у него тайн, о которых ей ничего не известно? Сейчас они откровенны друг с другом, но до конца ли? Что они, действительно, знают друг о друге? Он ведь даже не догадывается о том, что она увлекалась азартными играми. Он не знает, какую уйму денег она просадила на эти автоматы. Теперь это в прошлом, но ее до сих пор совесть мучит, когда она думает о той поре.

— Знаешь...— говорит она и замолкает, не найдя нужных слов. Лавочник смотрит на нее вопросительно, но она уже передумала. Зачем терзать себя и его запоздалыми признаниями, раз с этим покончено? Еще чего доброго расстроишь его в такой момент, когда он только-только обрел утраченный было оптимизм и уверенность в завтрашнем дне. Есть вещи, которые лучше держать при себе.

— Перерыв окончен,—возглашает фру Могенсен,—пора за работу!

Она встает и собирает грязную посуду. Лавочник откладывает недокуренную сигару, идет в лавку и окидывает взором плоды своих трудов. Сделано еще далеко не все, но контуры начинают понемногу вырисовываться. Он уже ясно себе представляет, как будет выглядеть обновленный магазин, светлый и уютный, словно созданный для того, чтобы заманивать покупателей и соблазнять их товарами.

Скоро они кончат, и он опять откроет торговлю. Но когда отворится дверь, все увидят, что это совсем новый магазин, непохожий на прежний, и лавочник в нем будет тоже новый и непохожий на прежнего.

Хенрик снова сидит на школьной скамье, он быстро к этому привык. Какое-то время, в самом начале, ему было странно, что не надо облачаться в малярную спецовку, что можно ходить в своей обычной одежде и не заляпывать краской руки, лицо и все остальное. Но это продолжалось всего несколько дней, а теперь ему уже кажется, что он и не прекращал занятий в школе, а просто учится дальше, начав с того места, до которого они дошли в девятом классе, и чувства он испытывает привычные, хорошо знакомые по школьным временам: легкое любопытство и смутный интерес к новым учебникам, какую-то неопределенную скуку на уроках и опасливую неприязнь к преподавателям. И в классе у них та же атмосфера, знакомая ему по школе: особенная гнетущая атмосфера, попеременно то тупая безучастность, то приступы веселого оживления, опросы, объяснения, зубрежка.

И все же разница есть. Преподаватели не такие, они вежливы с учениками и обращаются с ними как со взрослыми людьми. И ученики тоже не такие, как в школе. Некоторые из них ровесники Хенрику, но многие старше, а есть и пожилые, будто по ошибке затесавшиеся в класс, какой-то остряк окрестил их «дяденьками». «Дяденьки» хуже знают учебный материал, чем ученики помоложе, они давно оставили школу, занимались совсем другими вещами и успели позабыть школьные премудрости. Но зато они знают многое другое, у них есть собственное мнение, и они не стесняются его высказывать. Они спорят с преподавателями и возражают им, если находят, что их утверждения противоречат практическому опыту. Они не боятся

преподавателей и обращаются с ними как с равными, уважают их за профессиональные познания, но отдают себе отчет в том, что преподаватель не может знать всего, что в некоторых областях они сами разбираются лучше, и при случае они без всякого стеснения дают ему это понять. В них чувствуется целеустремленность и уверенность в себе.

У Хенрика тоже есть целеустремленность, в общем-то. Он твердо решил, что даром времени терять не будет, он знает, что на карту поставлено его будущее, знает, что не должен упускать представившуюся возможность, и дал себе слово использовать ее.

Но у Хенрика нет уверенности в себе, у него никогда ее не было. Он так устроен, что все время живет с ощущением некоторой неловкости — за то, что он вообще существует, за то, что он какой-то не такой, как нужно. Поэтому ему всегда хочется забиться куда-нибудь в дальний угол, затеряться среди других и чтоб никто не обращал на него внимания. Но, если человек учится на курсах, это, увы, неосуществимо и с первых же дней возникают трудные ситуации. Всякий раз, как в класс приходит новый преподаватель, он начинает урок с того, что знакомится с учениками, выкликая их по классному журналу. Они записаны в алфавитном порядке, и Хенрик где-то во второй половине списка, и вот он сидит, обливаясь потом от волнения, и ждет, пока его выкликнут. Сидит и про себя репетирует, как он громко и отчетливо крикнет «Я!», но, когда его очередь наконец подходит, у него вырывается лишь слабый шепот, и преподаватель не может найти его глазами.

— Кто это был? — спрашивает он, оглядывая класс.

— Я,— повторяет Хенрик чуть-чуть громче и краснеет до ушей. Он чувствует, что все на него смотрят, и слышит, как кто-то фыркает.

Хенрик злится на себя и решает, что хватит ему разыгрывать дурака, впредь он будет отвечать нормально, но в следующий раз опять повторяется та же история. Он сам не может понять, в чем дело, имя у него самое обыкновенное, тем не менее он ведет себя так, словно «Хенрик Могенсен» звучит смешно или неприлично.

И то же самое, когда его вызывают отвечать. Дома он старательно учит уроки, но, несмотря на это, когда его спрашивают, на него будто затмение находит, он слова не может из себя выдать. Так было в свое время и в школе, но там ему часто мешал страх перед учителями, которые вечно распекали его, считая, что он лентяй. Здесь же преподаватели никогда его не ругают, они обращаются с Хенриком вежливо, как со взрослым человеком. Но при всем том они, разумеется, намного образованнее его и умеют так тонко острить и иронизировать, что Хенрик перед ними беззащитен. Однажды на уроке географии его вызывают рассказать что-то такое про море, и он спотыкается и запинается, как будто не имеет ни малейшего представления об обсуждаемом предмете.

— Ты что же, никогда не бывал у моря? — ехидно интересуется преподаватель.

Хенрик не знает, что ответить. Очевидно, в вопросе есть какой-то смысл, который до него не доходит. Ясно, что он бывал у моря, но он не решается это сказать из опасения, что здесь какой-то подвох.

— Но может, ты хотя бы знаком с кем-нибудь, кто бывал у моря? — не унимается преподаватель.

Весьма остроумное замечание, и класс встречает его шумным одобрением. Хенрик заливается краской, и слезы вот-вот навернутся на глаза, но он берет себя в руки и делает вид, что тоже веселится вместе со всеми. Да ведь и в самом деле, преподаватель не со зла над ним потешается, он просто разговаривает в привычной для его круга манере, и ему невдомек, что есть люди, такие, как Хенрик, которым непонятен его язык.

Хенрик злится, что все время ведет себя как последний дурак, но он не жалеет и не раскаивается, что поступил на курсы. Он заранее знал, на что идет, и ничего другого не ожидал. Сама по себе учеба его не интересует, он относится к ней как к неизбежному злу, с которым он вынужден мириться ради того, чтобы не иметь больше дела с малярной мастерской и подняться когда-нибудь на один уровень с Енсом и Гитте.

В два часа Хенрик возвращается домой и может свободно вздохнуть до завтрашнего дня. Квартира теперь до самого вечера в его полном распоряжении, потому что мать с отцом оба работают в магазине. Хенрик любит оставаться один, он бы вообще с удовольствием жил один в квартире, и несколько часов он наслаждается миром и покоем, никто его не теребит, ни о чем не спрашивает и не делает замечаний. Он ставит чайник и пьет чай, слушая пластинки или листая журналы. У него много уроков, но надо же отдохнуть, прежде чем засаживаться за работу. Он решает приняться за домашние задания в четыре часа, но в четыре часа он как раз доходит до самого интересного места в журнале и дает себе полчаса отсрочки. Чаще всего кончается тем, что он так и не успевает начать до прихода родителей и потом уже тратит весь

вечер на приготовление устных и письменных уроков, потому что им очень много задают, больше, чем когда он учился в школе, а интересней не стало, такая же скучища, как и тогда. Но ничего, он это все одолеет, и, хотя он всегда слишком долго раскачивается, он выполняет все, что задано. Нередко он вынужден сидеть для этого до поздней ночи, и родители хвалят его за прилежание и радуются тому, что он, как они выражаются, нашел наконец себя.

Хенрик не знает, нашел ли он себя, но догадывается, что курсы для него — последний шанс, который нельзя упускать. Ему неинтересно учить эти уроки, а мысль о том, что придется вот так сидеть корпеть нескончаемо долго, не один год, порою приводит его в отчаяние, и тогда, чтобы не послать все к черту, он заставляет себя во всех подробностях вспомнить малярную мастерскую. Но ему нелегко, в его знаниях множество пробелов, сплошь да рядом случается, что он не в состоянии сам разобраться и очень нуждается в чьей-нибудь помощи, а помочь некому. На родителей рассчитывать нельзя, они никогда ничему не учились. Правда, отец утверждает, что может помочь ему с задачами, но математика, которую освоил отец, надо полагать, совсем иного рода, чем та, которую изучают на курсах, так что его и спрашивать не стоит. Иногда у Хенрика возникает желание подняться наверх и попросить помощи у Енса и Гитте, но, как дойдет до дела, не хватает духу. То, что ему не по зубам, для них небось детская забава, и они, чего доброго, поднимут его на смех: уж не может справиться с такой ерундой. Нет, лучше он попробует сам, хоть это и трудно. И вот он сидит вечера напролет и потеет над своей математикой, и английским

языком, и географией, и у него больше ни на что не остается времени, потому что день проходит бестолково и он слишком поздно берется за уроки. У Енса и Гитте он почти не бывает; лишь изредка, когда он чувствует, что все равно застрял и ни с места, он устраивает себе перерыв и идет наверх. У них по обыкновению полно народу, но ему всегда бывают рады. Они называют его книжным червем и спрашивают, как там у него на курсах.

— А в угол тебя сегодня не ставили? — говорят они и дружно хохочут. Обязательно кто-нибудь да отпустит шутку в адрес Хенрика, а он не может с ними веселиться, ему не смешно, он все время настороже: нет ли в их шутках какой-нибудь подковырки, которая до него не доходит. Ему непонятен язык, на котором говорят его преподаватели или Енс и Гитте, и от этого он чувствует себя неуверенно и еще больше замыкается, вместо того чтобы веселиться. Или, может, у него просто нет чувства юмора.

У Енса и Гитте по-прежнему идут жаркие дебаты, и по-прежнему все вертится вокруг проблемы: общество — бунт — революция. Но им позарез нужен рабочий класс, ведь они, между прочим, и бунт-то хотят поднять, выступая от имени рабочего класса, да вот загвоздка — среди них нет ни одного рабочего, они интеллигенция, и их образование со временем обеспечит им доступ к наиболее солидным и высокооплачиваемым должностям в этом самом обществе. Некоторые из них пробовали в каникулы работать шоферами или почтальонами, но рабочими они от этого не стали, а настоящих рабочих они, в сущности, и не знают. Вот был Хенрик, так и тот уже не рабочий, а непонятно кто, он просто учится на курсах. И ему еще очень долго



учиться, прежде чем он станет интеллигентом, а пока он ни то ни се. Самому Хенрику все время кажется, что он им уже не столь интересен и вроде как его общение с ними ничем больше не оправдано. С ним всегда так, везде он как-то не ко двору. Он сидит у них некоторое время, слушает их рассуждения, а потом говорит, что пора домой, надо заниматься, на завтра столько всего задано, и они его понимают и не удерживают.

— Но ты заглядывай, когда время будет,— говорят они и тут же возвращаются к своим словопрениям, а Хенрика никто не выходит проводить. Вообще-то, конечно, ничего особенного, в этом доме не придают значения старомодным правилам хорошего тона: чтобы непременно пожать руку на прощание, проводить до двери и все такое прочее,—но у Хенрика все же такое ощущение, что им безразлично, останется он или уйдет.

Однако его действительно ждут уроки. Он не сделал еще и половины того, что задали к завтрашнему дню. Письменный стол его завален раскрытыми учебниками, перед тем как пойти к Енсу и Гитте, он прочел немножко в одном, отложил его в сторону, заглянул в другой. Нельзя сказать, чтобы это было увлекательное чтение, но раз надо, значит, он прочтет, и еще он должен успеть решить несколько задач. Хенрик жалеет, что не начал пораньше, он дает себе слово завтра взяться за уроки, как только придет с курсов. Такая дурость—сидеть каждый день до поздней ночи, в результате у него не остается времени ни на какие развлечения, в кино сходить и то некогда. Он вдруг вспоминает, как он проводил вечера со своими приятелями из мотобанды. Между прочим, было довольно-таки весело, и вообще как-то жизнь была легче, ничего

такого серьезного от него не требовалось. А что если как-нибудь нагрянуть к ним, примут они его по старой памяти? Хенрик прогоняет шальную мысль, это все дело прошлое, он себе наметил совсем другую цель. Достаточно вспомнить малярную мастерскую, чтобы выкинуть дурь из головы. Он ни за что туда не вернется, ни туда, ни в другое похожее место. Он будет заниматься и добьется успехов, а трудно, вероятно, только вначале, потом наверняка станет легче. Хенрик берет учебник и пытается сосредоточиться, он приказывает себе не думать о том, как бесконечно долго ему еще придется вот так сидеть, прежде чем он хотя бы сдаст выпускные экзамены и получит аттестат.

## 11

Когда в свое время в Вальбю открывался новый супермаркет, министр торговли присутствовал на церемонии и держал речь, в которой восхвалял свободное предпринимательство, а когда однажды где-то открывалось еще более крупное торговое предприятие, то, говорят, торжественную речь произносил даже член королевской фамилии.

В тот день, когда лавочник Могенсен возобновляет торговлю в своем магазине, переоборудованном и модернизированном, на открытии не присутствуют ни министры, ни коронованные особы. Лавочнику, само собой разумеется, никогда бы и в голову не пришло их приглашать, он знает, что все определяется размерами капитала, а капитал, которым он располагает, настолько незначителен, что самого обыкновенного депутата фолькетинга и то не удалось бы зазвать. Но ничего, это не так уж важно, новый магазин не очень-то и

нуждается в такого рода парадных представлениях. Он светлый и уютный, настоящий «магазин для покупателей», как нынче принято говорить, с открытым доступом к соблазнительно выложенным на полках продуктам, любой товар можно потрогать и рассмотреть, и тем легче прельститься им и купить. Когда поддержишь товар в руках, трудно положить его обратно, кажется, он уже стал твоим, и поневоле его покупаешь.

В меру своих сил лавочник использовал принципы супермаркета, приспособив их к скромным масштабам собственной торговли. Он не может позволить себе проводить день в задней комнатухе, шпионя за покупателями с помощью системы зеркал; в таком магазине, как у него, личный контакт имеет неоценимое значение, поэтому и он и фру Могенсен находятся в лавке, обслуживают покупателей и разговаривают с ними. А покупателям нравится разговаривать, многие из них, может, и приходят-то не столько за покупками, сколько для того, чтобы поговорить, ведь в супермаркете не поговоришь. В супермаркете они не могут взять и вломиться к владельцу магазина, чтобы сказать, что сегодня скверная погода или что налоги в стране чересчур высоки, ему некогда слушать о таких вещах, да он и вообще не заинтересован в разговорчивых покупателях, потому что, пока они болтают языком, они же ничего не покупают. А у лавочника они могут разговаривать, сколько душе угодно, и, быть может, это его главный козырь, лавочник охотно выслушивает людей, он умеет беседовать с покупателями и почти никогда им не возражает, а, наоборот, соглашается с ними, хотя и не всегда разделяет их мнение. Поэтому покупатели относятся к нему с симпатией.

Правда, после ремонта беседовать в магазине стало трудновато, потому что лавочник ввел новшество: у него теперь постоянно играет музыка. Это он тоже перенял у супермаркета, он запомнил, что там звучала музыка, веселые, бодрящие мелодии, которые непрерывно лились из невидимых репродукторов и настраивали покупателей на нужный лад. И он решил, что у него тоже должна быть музыка, и последнее, что он сделал, перед тем как открыть магазин,— он приобрел магнитофон, установил его в задней комнате, а в лавке повесил репродукторы, и еще он купил пленку с самыми популярными мелодиями. Так что теперь у него одна за другой звучат модные песенки: «О тебе мечтаю я», «Старая мельница», «Панталончики любимые мои», «Когда тебя я встретил»— и покупатели как будто бы рады музыке, но лавочник не подумал о том, что из-за песенок будет трудно расслышать, что они говорят.

В лавке сегодня празднично и оживленно, и это не только благодаря музыке. О дне открытия было сообщено заранее, объявления в местных газетах и на дверях магазина обещали бесплатно горячий кофе всем желающим и раздачу воздушных шариков детям, а также широкий выбор товаров по особо низким ценам, и, когда лавочник утром открывал магазин, у дверей уже толпился народ. Торговое помещение убрано цветами, лавочник на всякий случай сам купил несколько букетов, но еще до полудня приносят цветы от других окрестных торговцев, а банк и тот самый поставщик с векселем присылают пышно разукрашенные корзины с пожеланиями счастья и успехов на будущее. Еще бы, они-то самым непосредственным образом заинтересованы в счастливом будущем лавочни-

ка, тем не менее он тронут их вниманием.

Весь день во вновь открывшемся магазине многолюдно, лавочник ни на минуту не остается один, к чему он за последнее время так привык. И он и фру Могенсен трудятся не покладая рук, отпускают товары, подсчитывают стоимость покупок, раздают воздушные шары и угощают горячим кофе с печеньем.

— Пожалуйста, фру, возьмите еще,— говорят они, и покупательница не может удержаться и берет еще одну штучку.

— Очень уж вкусное,— говорит она, с хрустом разгрызая печенье.

— Правда ведь вкусное? Если вы возьмете две пачки, вам полагается скидка.

И дама торопится купить две пачки: будь у нее в доме хоть сколько печенья, перед скидкой она не в силах устоять.

Все идет до того хорошо, что, пожалуй, даже уж слишком: лавочник с женой с ног сбились, не могут выбрать времени поесть, приходится по очереди скрываться в своей комнатушке, чтобы наспех чего-нибудь перехватить, а то им не дотянуть до вечера. Лавочник с нетерпением ждал этого дня и возлагал на него большие надежды, но действительность превзошла все ожидания: когда наконец-то закрывается дверь за последним покупателем и хозяин подбивает итог, он обнаруживает у себя в кассе такую дневную выручку, какой еще ни разу не имел за все годы существования магазина.

— Просто не верится,— говорит он с радостью и благодарностью.

— Как хорошо, что все прошло удачно,— говорит его жена.

— Все время так продолжаться не может, это ясно,— говорит лавочник,— но начало положено хорошее, верно?

Лавочник в таком приподнятом настроении, что захватывает домой бутылку красного вина. Он не притрагивался к вину со времени их злополучной поездки на дачу, когда ему еще сделалось плохо, но сегодня вино оказывает на него совсем иное действие, он становится необыкновенно словоохотлив и без конца расписывает на все лады, какой это был сказочно удачный день.

— Ты бы только видел, Хенрик,— говорит он,— народу набилось как сельдей в бочке.

— Ага, ты уже рассказывал,— откликается Хенрик.

— Нет, но это надо было видеть, в какой-то момент я даже испугался, что они все просто не уместятся.

— Угу,— мычит Хенрик.

Лавочник не замечает, что Хенрик относится к его рассказу с полным безразличием, или, может, не хочет замечать. Сегодня в его жизни большой день, и никто не сумеет отравить ему радость. Он даже телевизор не включает, его не интересуют последние известия, единственное, что его сегодня интересует,— это его магазин, а о нем в последних известиях не упомянут, можно не сомневаться, хотя, между прочим, когда открывался супермаркет, про него передавали. Лавочник до сих пор помнит речь министра, который восхвалял свободное предпринимательство и его плоды. Такова датская экономика, говорил тогда министр, в ней есть место как крупным, так и мелким предприятиям, они удачно дополняют друг друга и в равной мере нужны и незаменимы. Но это, разумеется, вовсе не означало, что министр и телевидение столь же резво прискачут и на открытие какого-нибудь мелкого предприятия, поэтому лавочнику неохота сегодня включать телеви-

зор, лучше посидеть поболтать о своем магазине и о будущем.

— Теперь я поверил,—говорит он,—в самом деле поверил.

— Все у нас будет хорошо,—говорит его жена.

— Я очень на это надеюсь, особенно ради тебя, а то ты у меня замучилась.

— Оба мы с тобой замучились.

— Да, но я-то сам во всем виноват,—говорит лавочник,—вместо того чтобы бороться, я отчаялся и сложил оружие.

— Ну ладно, будем теперь уповать на будущее,—говорит жена,—что было, то прошло.

И лавочник уповает на будущее, он строит грандиозные планы, но, когда он вечером лежит в постели, в душу все же закрадывается сомнение, которое долго не дает ему уснуть. Можно ли вообще о чем-то судить по самому первому дню? А что будет завтра, когда все войдет в обычную колею, придут ли к нему покупатели? Он говорит себе, что глупо и бессмысленно думать об этом, уж теперь-то, кажется, можно бы покончить с такого рода никчемными беспокойствами, но ему никак не удается прогнать прочь тревожные мысли, и он не скоро забывается сном.

## 12

Когда-нибудь Хенрик будет изучать психологию или, может, социологию, а может, и еще что-нибудь, он пока не очень хорошо знает, из чего, собственно, можно выбирать, он только знает, что хочет стать образованным, набраться ума и научиться понимать, что происходит в обществе и что происходит в нем самом. Маляром он быть не хочет, он вообще не хочет иметь такую профессию, где грязь, и

руки устают, и голова болит, и тошнит, и заработок малюсенький, да вдобавок еще постоянная угроза безработицы. И торговцем он тоже не хочет быть, таким, как его отец со своей смешной лавчонкой и вечными расстройками. Хенрик желает стать ученым человеком с чистыми ногтями, человеком, который знает, что такое конфронтация или, например, альтернативные решения. Но он окончил только девять классов, у него недостаточная подготовка, чтобы можно было изучать социологию или психологию, ему необходимо сначала сдать экзамены по программе гимназии и получить аттестат, так что впереди у него долгие годы учебы.

Уроки на курсах тянутся медленно, Хенрик то и дело поглядывает на часы и каждый раз не может поверить, что прошло всего только пять минут. Он пытается заставить себя пореже смотреть на часы, в следующий раз, когда он посмотрит, должно пройти по крайней мере пятнадцать минут, решает он, втайне надеясь, что на самом деле окажется, что прошло целых двадцать и, следовательно, до конца урока останется на пять минут меньше, чем он ожидал. Он долго крепится, а когда наконец позволяет себе взглянуть на часы, то, конечно, выясняется, что еще и десяти минут не прошло и, значит, осталось не столько, сколько он рассчитывал, а больше на те пять минут, которые он не дотянул до запланированного срока, да плюс те пять минут, которые он втайне надеялся выиграть на дополнительной задержке.

Хенрик томится. Каждое утро он приходит на курсы с твердой решимостью слушать внимательно, вникать в объяснения и впитывать в себя ученые премудрости, но уже через каких-нибудь пять минут он теряет нить и



мысли начинают разбегаться. Под окном растёт дерево, на которое слетается множество птиц, и Хенрик может подолгу сидеть наблюдать за ними. Ему всегда нравились птицы, вот если бы можно было изучать птиц, когда он станет студентом, должна же быть какая-то специальность, связанная с птицами, зоология или что-нибудь в этом роде. Надо будет разузнать, думает он.

Хенрик наблюдает за птицами, а мысли его перескакивают с одного на другое. Он думает про Енса и Гитте, он вспоминает свою мотобанду, по которой он, несмотря ни на что, немножко скучает. Пожалуй, скучает он в основном по Бенни, Бенни хоть и был порядочный задира и грубиян, а все-таки что-то в нем привлекало Хенрика, он не мог бы объяснить, что именно, наверно, ему нравилось, что Бенни был хорошим товарищем и, при всем своем отечески покровительственном отношении к Хенрику, все же по-своему его признавал. Хенрик не может забыть Бенни, хотя и понимает, что ему с Бенни не по пути. Мотобанда — неподходящая компания для людей с гимназическим аттестатом или даже для тех, кто поставил себе цель его получить, и лучше уж обходиться без Бенни, чем снова вернуться к малярному ремеслу или какому угодно другому ремеслу. Хенрик сделал свой выбор, его будущее — в рядах интеллигенции, и ни Бенни, ни кто другой не заставит его свернуть с избранного пути.

Изредка что-либо происходящее в классе прерывает беспорядочный бег мыслей Хенрика и на какое-то время возвращает его к действительности. Стук уроненного на пол предмета или взрыв смеха, вызванный остроумным замечанием преподавателя, отвлекает его внимание от сидящих на дереве птиц, и он

вспоминает, где находится. Тогда он снова делает попытку слушать внимательно и следить за уроком, но он пропустил начало и потерял нить рассуждений, ему трудно на ходу подключиться. Взгляд Хенрика блуждает по классу, это довольно пестрое сборище, большинство здесь — люди более или менее взрослые, между тем поведение их немногим отличается от поведения школьников, каким Хенрик помнит его. Некоторые шепчутся или пишут записочки, сообщая друг другу что-либо по секрету, находятся даже такие, кто стреляет бумажными шариками, но есть и старательные ученики, которые усердно тянут руки вверх и очень хотят, чтобы их спросили. Того и гляди крикнут, как в первом классе: «Господин учитель, можно мне сказать?» — так им не терпится продемонстрировать свои познания. Это люди, которые и раньше хорошо учились, но на время лишились возможности продолжать учебу, а теперь они наверстывают упущенное, им обеспечены хорошие оценки, и, когда подойдет срок, они успешно сдадут выпускные экзамены. Чтобы затем, не отклоняясь от намеченного курса, получить университетское образование и в будущем занять ответственные посты в обществе, а также выступать по телевидению в качестве экспертов и консультантов.

Хенрик не пишет записочек и не стреляет бумажными шариками, но он и руку никогда не поднимает, он совсем не рвется отвечать. Хенрик не любит привлекать внимание к своей скромной особе, он предпочитает сидеть себе тихонько и чтобы никто его не трогал, но от своей судьбы не уйдешь, бывает, что преподаватель его вызывает, считая необходимым активизировать всех учеников. Хенрик ненавидит, когда его спрашивают, он так боится

сесть в лужу, что буквально рта раскрыть не решается, а когда преподавателю наконец удастся вывести его из состояния немоты, он как правило ляпает какую-нибудь чушь, так что весь класс покатывается со смеху, а сам он заливается пунцовой краской. Его давно уже произвели в классные шуты, это ему совершенно ясно, он же слышит, как они всегда заранее оживляются в предвкушении потехи, когда его вызывают. Однажды на уроке истории, когда Хенрик по своему обыкновению сидит и смотрит в окно на птиц, преподаватель внезапно обращается к нему:

— И что же за корабли появились в это время, Хенрик?

Хенрик в панике, он вообще не слышал, о чем они говорили. Может, пароходы? Это, пожалуй, наиболее вероятно, но он не отваживается сказать про пароходы из страха, что, возможно, речь шла о древних временах. И тут один из сидящих сзади приходит ему на помощь.

— Воздушные корабли,— шепчет он.

И Хенрик с благодарностью хватается за подсказку.

— Воздушные корабли,— машинально повторяет он — и еще до того, как вокруг раздается дружное гоготанье, он понимает, что над ним подшутили.

Хенрик знает, они не со зла, это абсолютно безобидная шутка, но если бы они и над другими подшучивали, а то всегда только над ним. Он старается сосредоточиться и больше не отвлекаться, чтобы в другой раз не пришлось плавать, он даже достает блокнот, собираясь записывать все важное и значительное, что говорится на уроке, как это делают примерные ученики, но немного погодя он уже сидит и рисует в блокноте голых девиц.

У Хенрика сейчас мания рисовать голых девиц. Он, собственно, ни разу не видел их в натуре, но в наши дни довольно трудно остаться в неведении относительно того, как выглядят голые женщины. И Хенрик, разумеется, тоже знает, как они выглядят; уж если на то пошло, он даже читал порнографические журналы, когда работал маляром. Довольно часто кто-нибудь приносил их с собой в мастерскую, и они переходили из рук в руки, давая повод для многочисленных комментариев, которые Хенрик не всегда до конца понимал. Теперь ему больше не случается просматривать такого рода издания, не потому, что их трудно достать, они лежат, маня и завлекая, на видном месте в каждом киоске, но у Хенрика не хватает храбрости их покупать, хотя у него частенько возникает такое желание. Не раз уже бывало, что он набирался духу и подходил к киоску специально, чтобы их купить, но стоит ему приблизиться к прилавку, как мужество тотчас покидает его, и дело кончается тем, что он берет всего лишь одну из обычных газет, в которых, правда, тоже есть и ответы сексолога на вопросы читателей, и изображения более или менее раздетых девиц, но все-таки это не то же самое, и, быть может, здесь-то и кроется причина того, что Хенрик каждую свободную минутку тратит на рисование голых девиц.

На два ряда впереди него сидит девушка по имени Сусанна, и он не может удержаться, чтобы, рисуя, не поглядывать на нее. Иногда она как будто чувствует вдруг на себе его взгляд, оборачивается и смотрит на него с любопытством, а Хенрик спешит отвести глаза. Но немного погодя он уже снова сидит, уставившись ей в затылок. В классе есть и другие девушки, и многие, надо сказать, го-

раздо красивее Сусанны, тем не менее он всегда смотрит именно на нее. Он и сам не знает почему, может, просто потому, что она находится как раз в поле его зрения,— как бы там ни было, он не может на нее не смотреть, и она знает, что он на нее смотрит, и изредка оборачивается и бросает на него вопросительный взгляд, не сердитый и не раздраженный, а вопросительный, и, хотя Хенрик сразу вспыхивает и поспешно отводит глаза, когда она к нему оборачивается, он все время ждет, чтобы она опять на него взглянула. Не просто же так она на него смотрит, вероятно, ее взгляды что-то означают, и Хенрику нравится воображать, что между ними существует некое тайное согласие.

К тому же Хенрик несколько раз разговаривал с ней на перемене. Чаще всего они обменивались ничего не значащими фразами, она спрашивала, нет ли у него сигареты или что задано к следующему уроку. Так что, конечно, ничего особенного, но все-таки она ведь могла вместо него спросить любого другого, а она обращается именно к нему, и он воспринимает это как знак особого внимания.

Когда Хенрик был маленький и только-только поступил в школу, он сразу возненавидел перемены. Весь этот шум и гам и вой во дворе школы пугали его, он дрожал от страха перед большими мальчишками, которые не упускали случая продемонстрировать свое превосходство над малышами и довольно скоро выбрали Хенрика своей жертвой. Он пробовал держаться поближе к дежурному учителю, чувствуя себя рядом с ним в большей безопасности, но учителя не любили, чтобы дети терлись возле них, и отсылали его играть с другими ребятами. Пришлось Хенрику отказаться от личного телохранителя и искать

убежища в отдаленном уголке школьного двора, где он стоял, прижавшись к стене, в надежде, что его никто не заметит. Потом он сам стал большим, и никто уже не мог на него напасть, но страх перед переменами так в нем и остался, и он всегда чувствовал облегчение, услышав звонок на урок, даже если у него не были решены все заданные задачи.

Здесь, на курсах, никто не орет, и не вопит, и не применяет насилия, тем не менее перемены, как и прежде, мучение для Хенрика. Класс очень скоро разбился на небольшие группы, на переменах все собираются кучками, а Хенрик остался один. Он даже не заметил, когда произошло это разделение, неожиданно оказалось, что уже существуют каким-то образом сложившиеся группы, а ему так и не удалось прибиться ни к одной из них.

Вообще говоря, Хенрику даже нравится держаться в стороне от других, он успел привыкнуть к тому, что он всегда сам по себе, и такое положение вполне его устраивает. Но ему стыдно, что он как будто в изоляции, да и выглядит это, конечно, по-дурацки: стоит, красуется в полном одиночестве. Поэтому он пробует пристроиться к какой-нибудь из групп и делает вид, что участвует в общем разговоре, но в действительности он всего лишь зритель, он никогда ничего не говорит и никто никогда не интересуется его мнением, но никто и не отсылает его прочь и не запрещает ему стоять и делать вид, что он из этой группы.

Сусанна тоже не принадлежит к определенной группе, она обычно переходит от кучки к кучке и всюду умеет самым естественным образом вставить замечание или ввязаться в спор. Возможно, поэтому она иногда и к Хенрику обращается, он ведь тоже в некото-

ром роде отдельная, самостоятельная группа. Разговаривают они друг с другом о вещах не столь уж значительных: она просит у него закурить, и он поспешно достает пачку сигарет, а затем дает ей огня; она говорит, что к немецкому вчера даже не притронулась, потому что гуляла с друзьями, а он говорит, что тоже не приготовил вчера немецкий, потому что к нему заходили друзья. У него столько друзей, то один забежит, то другой, вечно мешают ему заниматься, из-за них он так часто и приходит с невыученными уроками.

Несколько раз Хенрику посчастливилось: они вместе уходили с курсов. Правда, она ездит домой на автобусе, так что вместе они могут идти только до автобусной остановки. При этом Хенрик ведет свой мопед рядом. Она, судя по всему, ничего не имеет против его общества, болтает об уроках и преподавателях и спрашивает Хенрика, зачем он поступил на курсы. А Хенрик не знает, что ей отвечать, ему неохота выкладывать свои планы относительно психологии и социологии, и он бормочет что-то неопределенное, мол, думает учиться дальше.

— А что ты раньше делал? — спрашивает она, и Хенрик отвечает, что был маляром.

— Маляром, — повторяет она, — совершенно не представляю тебя маляром. Ну и как, ничего?

— Да ну, — говорит Хенрик, — скучища жуткая.

— Представляю, — говорит она.

Хенрик каждый день старается подгадать, чтобы после уроков вывести свой мопед как раз в ту минуту, когда она появляется в дверях, но чаще всего она выходит вместе с другими, и тогда он, не подавая виду, садится и уезжает. Но иногда ему везет, она выходит

одна, и тогда он тащит рядом с собой мопед и провожает ее до автобусной остановки, а потом еще стоит болтает с ней, пока не подойдет автобус. Однажды, когда они вот так стоят и ждут автобуса, она вдруг говорит, поглядев на него:

— Напрасно ты так из-за всего переживаешь.

— Из-за чего переживаю? — Хенрик в растерянности, он не понимает, куда она клонит.

— Да вообще из-за всего, — отвечает она, — мы иногда над тобой смеемся, так это же в шутку.

Хенрик краснеет и говорит, что он и сам это знает, что ж он, шуток не понимает, что ли, неужели она думает, он обижается, да ему первому бывает смешно. Но тут подъезжает автобус и она бросает ему «пока», вскакивает на подножку и больше уже не оборачивается — могла бы помахать рукой, или послать воздушный поцелуй, или что там еще в таких случаях делают, но нет, она просто проходит и садится на свободное место, потеряв к Хенрику всякий интерес.

Ему немножко неприятно, что она ему сказала такую вещь, но, с другой стороны, это, пожалуй, доказывает, что она не совсем к нему равнодушна. Он без конца думает о ее словах по дороге домой, вызывает в памяти все оттенки ее интонации и все время истолковывает их на разные лады. Не зря же она об этом заговорила, такие вещи не говорят просто так, без всякого определенного смысла. Вот бы встретить ее не на курсах, а где-нибудь еще, но только он понятия не имеет, как это можно устроить. Если б он знал, где она живет, он мог бы, к примеру, поехать туда на своем мопеде и столкнуться с ней как будто случайно. Хенрику очень нравится эта идея,



здорово бы было, но он же не знает, где она живет, он вообще ровным счетом ничего о ней не знает, кроме того, что она, как и он, учится на курсах.

Но одно Хенрик теперь твердо решил: впредь он будет заниматься старательней, чтобы всегда знать урок и не выступать больше в роли шута. Поэтому, едва переступив порог своей квартиры, он с места в карьер заваривает чай и идет с чайником к себе в комнату, намереваясь немедленно засесть за уроки на завтрашний день. Но толку получается мало, он все время возвращается к мыслям о Сусанне, а немного погодя он уже сидит и рисует голых девиц, голых девиц всевозможного вида и во всевозможных позах, а потом сжигает эти картинки, чтобы они не попали на глаза родителям. Мать с отцом пришли бы в ужас, увидев, какие он делает рисунки, папаша небось подумал бы, что Хенрик просто псих, сам он, конечно, никогда не рисовал голых девиц. Хенрик вообще не может себе представить, чтобы его отец интересовался чем-нибудь таким, у него, наверно, в жизни не было других интересов, кроме его жалкой лавчонки да еще телевизора. Во всяком случае, голых девиц он уж точно не рисовал.

Хенрик не в состоянии собрать разбегающиеся мысли, они скачут с одного на другое, пожалуй, он заведет пока пластинку, чтобы успокоиться и сосредоточиться, но только одну, а потом он будет заниматься. И он ставит пластинку, а сам ложится на спину и слушает музыку, не слыша ее, а когда пластинка кончается, он обнаруживает, что на часах без десяти четыре, глупо садиться за работу без десяти, ладно уж, можно подождать, пока будет ровно четыре,— и Хенрик

снова принимается рисовать голых девиц. Время течет у него сквозь пальцы, уже вечер, а он всего-то успел решить две задачки, не так много, если учесть, что, кроме математики, у него еще на завтра немецкий, английский и история. Да, но он все равно сидит и думает о посторонних вещах, лучше устроить пока перерыв, и, хотя он знает, что не должен этого делать, он отправляется к Енсу и Гитте, ненадолго, побудет минутку и уйдет.

В компании Енса и Гитте появился новый рабочий, он наборщик и совсем не похож на Хенрика. Он умеет беседовать на любые темы, вставляя те же красивые и редкие слова, какими пользуются Енс и Гитте и их друзья, ведь эти слова хорошо знакомы ему по работе. Наборщик то и дело атакует студентов, без всякого стеснения высказывая им, что он о них думает, а они, как ни странно, ничуть не в обиде и вроде бы даже рады, когда он над ними издевается. У Хенрика он вызывает раздражение: до того самодовольный, что слушать противно,—и Хенрик вскоре потихоньку сбегает, все равно он здесь никому не нужен.

Раскрытые книги лежат у него на письменном столе, он зевает, хочется спать, но нет, он себе спуску не даст, раз нужно, значит, нужно, все дело в том, чтобы взять себя в руки. И он садится за стол и принимается за следующую задачу с твердой решимостью не ложиться до тех пор, пока не приготовит домашние задания, даже если для этого придется просидеть всю ночь.

## 13

Разумеется, торговля не может все время идти столь же успешно, как в день открытия,

на это лавочник и не рассчитывал. После того как первое любопытство улеглось, приток покупателей заметно уменьшается, лавочнику и его жене уже не приходится работать без перерывов, у них есть время передохнуть. Что ж тут странного, так и должно быть, в конце-то концов не могут же они угощать покупателей бесплатным кофе каждый божий день.

Но лавочник по-прежнему в бодром настроении. Что ни говори, а по сравнению с тем, что было до ремонта, сделан большой шаг вперед, сейчас редко когда бывает, чтобы в магазине не было ни единого покупателя. Не то что раньше, когда большую часть дня лавочник проводил в одиночестве, предаваясь унылым размышлениям; нет, теперь дело сдвинулось с мертвой точки, во всяком случае, вечером, когда лавочник подсчитывает выручку, это подтверждается с полной определенностью. Еще совсем недавно тот момент, когда он садился подсчитывать дневную выручку, был для него самым мучительным за весь день, теперь же он ждет его даже с радостью, но на всякий случай каждый раз нарочно занижает в уме ожидаемую сумму, так что реальный итог неизменно оказывается для него приятным сюрпризом.

— Подумать только,— говорит он,— неужели мы продали на такую сумму, а мне показалось, сегодня у нас было довольно-таки тихо.

В лавке по-прежнему играет музыка, но репертуар несколько расширился. Пленки хватает всего на час, и, пока у лавочника была только одна пленка, ему приходилось слушать одни и те же мелодии по многу раз в день, так что под конец его уже тошнило от них. Если по восемь раз на дню слушать «Старую

мельницу», «О тебе мечтаю я» и «Панталончики любимые мои», поневоле приестся и осточертеет. Особенно песня про панталончики стала раздражать лавочника: этот бодряк, что ее поет, очень уж рад и доволен собой, он то и дело перемежает пение развеселым «ха-ха», которое лавочнику действует на нервы. Когда-то это была его любимая мелодия, он даже просил Ельберга передать ее по радио, а теперь она внушает ему отвращение своей непроходимой глупостью, и, чтобы внести какое-то разнообразие, он приобретает еще две пленки. Но всех пленок хватает только часа на три, и лавочник вынужден по крайней мере дважды в течение дня слушать этот идиотский хохот, иначе он рискует разориться на магнитофонных пленках.

Фру Могенсен по-прежнему приходит в магазин каждый день, хотя в этом нет особой нужды. В обычные дни покупателей не настолько много, чтобы лавочник не управился с ними один, но ей уж очень не хочется возвращаться к своей роли никому не нужной домашней хозяйки, а лавочнику приятно, что она приходит ему помогать — теперь, когда все изменилось к лучшему. Вдвоем хорошо, легче работать и есть с кем поговорить, обсудить дела.

Лавочник ввел еще одно новшество — так называемую «недельную распродажу товаров»: каждую неделю он продает отдельные товары по особо дешевой цене, фактически ничего на них не зарабатывая, просто для того, чтобы приманить покупателей, — «приманные» товары, так их и называют. И фру Могенсен принадлежит решающее слово, когда выбираются «приманные» товары на следующую неделю. Она лучше знает, чем можно соблазнить хозяек, и лавочник охотно

руководствуется ее компетентными указаниями.

Все-таки это прекрасно, когда муж с женой сообща занимаются своим заведением, лавочник Могенсен и его жена довольны жизнью и считают, что им очень повезло: у них есть дело, которое их объединяет. Они сидят вместе в задней комнатухе, едят свои бутерброды, а лавочник пьет зеленый лимонад, к которому он за последнее время пристрастился, и, хотя в лавку время от времени заглядывают покупатели, которых они по очереди выходят обслужить, они наслаждаются совместной трапезой, это самые приятные минуты за весь день. Они разговаривают друг с другом о магазине, они полны радужных надежд и строят планы на будущее. Вот бы им вместе съездить куда-нибудь отдохнуть; когда дела поправятся и пойдут на лад, можно на две-три недели закрыть магазин и уехать. Ни один из них никогда не путешествовал — не было возможности, в первую голову заботились не о себе, а о магазине, но еще не поздно, надо только подумать, как это лучше организовать. Конечно, если бы Хенрик согласился поработать в лавке неделю-другую... но бог с ним, с Хенриком, его не переделаешь; когда торговля как следует наладится, они вполне могут себе позволить закрыть магазин как-нибудь летом, в мертвый сезон, когда большинство покупателей все равно разъезжается. Они с увлечением говорят о будущем путешествии и обсуждают, куда им лучше поехать, когда это действительно станет реальным. В нынешнем году нечего и мечтать, нужно сначала надежно упрочить свое положение, но через год — что ж, очень может быть, а это ведь уже немало, когда людям есть чему радоваться в будущем.

Да, путешествие — вопрос будущего, но у них же есть дача, и они регулярно, чуть не каждую неделю, выезжают за город. Правда, лавочник долгое время находился под впечатлением их тогдашней неудачной поездки, она словно изменила его отношение к самой даче, слишком уж напоминало ему это место обо всех пережитых трудностях и невзгодах. Но сейчас все пришло в норму, и каждую субботу, закрыв магазин, они уезжают к себе на дачу.

Летний домик лавочника расположен на засаженной лесом равнине в окружении других таких же домиков. Когда-то это был уголок природы, которым все имели право свободно пользоваться, но затем местность была разбита на участки, и люди, которые по дорогой цене приобрели себе здесь кусочек земли, вполне естественно, не желают делить свою собственность со всеми подряд, и поэтому они повесили табличек с надписями: «Частное владение» и «Посторонним проезд строго воспрещен», смысл которых, казалось бы, невозможно истолковать превратно. Однако народ в наши дни перестал уважать чужую собственность, и посторонние беспрерывно вторгаются в частновладельческую зону. Они ставят свои машины на частных дорогах, достают раскладные столы и стулья и усаживаются вкушать пищу на лоне природы, как будто это их собственные владения, а законные владельцы вынуждены тратить значительную часть своего субботнего и воскресного отдыха на то, чтобы изгонять непрошенных гостей.

Лавочнику тоже не нравятся чужаки, бесцеремонно вторгающиеся в дачную зону, и стоит

ему кого-нибудь заприметить, как он тотчас бросается в бой.

— Вы что же, не видели надпись? — спрашивает он. — Эта территория в частном владении.

— Надпись? — удивляются посторонние, ну конечно же, они никакой надписи в глаза не видели. — Мы не знали, что сюда нельзя заезжать. Но разве мы кому-нибудь мешаем?

— Что значит мешаете или не мешаете, — возмущается лавочник, — вам бы тоже навряд ли понравилось, если бы посторонние люди расположились позавтракать у вас в гостинной.

Большая часть интервентов считает, что это совсем другое дело, люди ведь всегда так: чуть что коснется их самих, они сразу считают, что это совсем другое дело. Но некоторые ведут себя вежливо и извиняются, они просто не обратили внимания, что здесь частное владение, и тогда лавочник милостиво разрешает им доесть свою еду, но только при условии, что они не оставят после себя никакого мусора. Есть и такие, которые в ответ дерзят и огрызаются, а однажды некий посторонний совсем уж беспардонно посылает лавочника ко всем чертям.

— А что вы, собственно, можете со мной сделать? — нагло спрашивает он.

Сделать?.. Лавочник прекрасно знает, что он ничего не может сделать. Раньше он пробовал звонить в полицию, но полиция не любит с этим возиться. Он знает, что он бессилен, и ему не остается ничего другого, как повернуться спиной к этому нахалу и прекратить бесполезный спор.

Проще расправляться с длинноволосыми юнцами, которые иногда развлекаются, катаясь по частновладельческой зоне на мопедах.

Достаточно заикнуться о полиции, как они мигом исчезают. Им известно, что, если явится полиция, мопеды подвергнутся тщательному осмотру и тогда им несдобровать: у всех машины переделаны таким образом, чтобы можно было ездить с большей, чем положено, скоростью. Поэтому у длинноволосых нет желания встречаться с полицией, лучше уж найти другое место, где можно раскатывать на незаконных скоростных мопедах; но, чтобы не ронять своего достоинства, они на прощанье объясняют лавочнику, что он жмот и вредина, и бедный лавочник стоит, онемев, и размышляет о невоспитанности нынешней молодежи и о падении нравов.

К счастью, количество посторонних уменьшается по мере приближения осени. На дворе сыро и холодно, люди предпочитают сидеть в тепле и уюте перед своим телевизором, и мир опускается на территорию частных владений. Это, пожалуй, лучшее время в здешних краях, и лавочник с женой могут теперь без помех вкушать прелести дачного отдыха. К лавочнику вернулась его всегдашняя энергия, и он торопится сделать все дела, которые успели накопиться, он чинит и красит, он спиливает деревья, и тело его наливается здоровой усталостью, а по вечерам они не задерживают гардины, а сидят у окна и смотрят в темный сад. Телевизора у них здесь нет, и они без него не скучают, они наслаждаются тишиной и покоем и говорят друг другу, что в это время года здесь просто чудесно и когда они состарятся и продадут магазин, то будут жить на даче почти безвыездно.

Обычно они остаются здесь до понедельника и утром приезжают прямо в магазин, отдохнувшие, полные свежих сил и готовые вновь взвалить себе на плечи все труды и



заботы будней. А лавочнику свежие силы очень даже кстати, ведь последнее время, что греха таить, дела у них, кажется, опять пошли под гору. Покупателей в лавке покамест больше, чем было до ремонта, но застой уже чувствуется, это факт, от которого никуда не уйдешь, да вдобавок многие покупатели завели скверную привычку набрасываться на товары дешевой распродажи, не покупая ничего другого. Но лавочник вовсе не этого добивался, когда вводил дешевую распродажу, жить-то ему на что-то надо, а так он много не наторгует. Ему теперь приходится очень сильно занижать цифру ожидаемой дневной выручки, если он хочет, чтобы итоговая сумма, как и раньше, оказывалась приятным сюрпризом, и в конце концов ему вообще надоедает играть в эту игру, он довольствуется тем, что трезво и деловито подбивает итоги дня. Выручка пока больше, чем была до ремонта, и, хотя значительную долю проданных продуктов составляют «приманные» товары, на которых он ничего не зарабатывает, концы с концами сводить можно. Но дело в том, что имеется некий вексель, срок которого скоро истекает, да и в банк ведь нужно вносить деньги, роковой день подступает все ближе, и все труднее становится убеждать себя в том, что найдется какой-нибудь выход.

Нелегко в таких обстоятельствах сохранить бодрость духа, и лавочник постепенно опять впадает в брюзгливое уныние. Он ворчит и лезет в бутылку из-за каждого пустяка, он без конца пререкается с женой, и нет уже той теплой доверительной атмосферы, какая была у них совсем недавно, а возможно, они действуют друг другу на нервы еще и потому, что вдвоем им в лавке нечего делать. В сущности, нет больше нужды в том, чтобы фру Могенсен

каждый день приходила помогать, да у них и не было такого уговора, что она постоянно будет приходить, но фру Могенсен так обрадовалась, что она опять стала нужна, она уцепилась за работу в магазине и изо всех сил противится своему выдворению домой. Она старается не сидеть сложа руки, всегда находит себе какое-нибудь дело, но это лишь выводит лавочника из себя: ну что она все время без толку суетится. И тогда фру Могенсен усаживается и сидит, но она замечает, что муж ее точно так же выходит из себя, когда она ничего не делает, и немного погодя она опять встает и начинает хлопотливо снова по лавке. Ясно, что так долго продолжаться не может, и однажды действительно разражается скандал, лавочник в запальчивости кричит на нее: чего ради она сюда ходит, только зря мельтешит перед глазами да ссоры затевает, смотрела бы лучше за домом, как раньше!

— Но ты же сам меня просил приходить тебе помогать,— обиженно возражает она.

— Когда это было нужно— да, но не вечно же,— говорит лавочник,— об этом вовсе не было речи.

— Значит, ты хочешь, чтобы я сидела дома?— спрашивает она.

— Мы же тут только и знаем, что друг о друга спотыкаемся,— говорит лавочник,— а домой приходишь— еда не готова, тоже хорошего мало.

— Ах вот оно что,— с горечью говорит она,— вот, оказывается, в чем дело.

Лавочник тотчас жалеет о сказанном и поспешно добавляет, что по пятницам и субботам она по-прежнему будет нужна, но слишком поздно, обиду уже не загладить. На следующий день фру Могенсен остается дома,

а лавочник весь день один в магазине, и ему стыдно за свою вспыльчивость и неумение владеть собой. Он с грустью вспоминает, как они вместе работали, как хорошо им было вдвоем сидеть в задней комнатухе, болтая о будущем и о путешествиях; позвонить бы домой и позвать ее... Кажется, такая простая вещь, взять и позвонить, но это только кажется, лавочник не может, он несколько раз снимает трубку, но потом кладет ее обратно, так и не набрав свой домашний номер, и тогда он с горя выпивает пива, чтобы заглушить чувство одиночества и свою тоску по каким-то переменам, которые, видно, так никогда и не наступят.

А фру Могенсен — опять домашняя хозяйка всю неделю, кроме пятницы и субботы. Она поддерживает порядок в квартире, и горячая еда всегда на столе, когда ее муж приходит домой. Какое-то время она еще лелеет надежду, что он ей скажет, мол, теперь он понял, как ему плохо без нее в магазине, и попросит опять приходить помогать, но, увы, этого не происходит, он с ней почти не общается, он опять просиживает вечера напролет перед телевизором, и еле теплившаяся в душе фру Могенсен надежда гаснет.

И в один прекрасный день она вновь идет в кафетерий, и сумочка ее набита монетами по двадцать пять эре, но все игорные автоматы заняты, придется подождать, и она садится за свободный столик. Пока она сидит пьет кофе, к столику подходит слепой. Фру Могенсен не раз видела этого слепого, он почти каждый день приходит сюда, обычно он просит кого-нибудь принести для него чашечку кофе, а потом сидит пьет и разговаривает с соседями

по столу. Слепой никогда не играет, он, очевидно, приходит в кафетерий, чтобы перемолвиться словом с другими людьми, но фру Могенсен никогда с ним не разговаривала, она так увлекалась игрой, что ей было не до разговоров.

На этот раз она приносит слепому кофе и помогает ему устроиться за столом, а он с благодарностью обращает к ней взгляд своих незрячих глаз и спрашивает, часто ли она здесь бывает. И фру Могенсен рассказывает, что раньше постоянно сюда заходила, но потом был довольно долгий перерыв.

— Я что-то раньше вас не замечал,— говорит слепой.

Фру Могенсен вынуждена признаться, что она в основном приходит играть.

— Что же вы хотите выиграть? — спрашивает слепой, и она затрудняется ему ответить.

— Вы же знаете, что здесь ничего нельзя выиграть,— говорит слепой,— но вы, вероятно, все равно мечтаете чудом разбогатеть, да?

— Может, и так,— соглашается фру Могенсен,— мы, наверно, все не прочь разбогатеть.

— Так уж и все? — улыбается слепой.

Он протягивает руку и легко прикасается к ней, фру Могенсен почему-то становится не по себе, и она беспокойно ерзает.

— Вы не пугайтесь,— говорит слепой,— для меня это способ знакомиться с людьми, мне же хочется знать, как вы выглядите. Вы красивая?

— Красивая? — смеется фру Могенсен.— Думаю, что в этом меня трудно обвинить.

— А голос у вас красивый,— говорит слепой,— наверно, вы и сама красивая.

— Ну красивая так красивая,— говорит фру Могенсен, пусть будет так, она не возражает.

— А какого цвета у вас глаза? — спрашивает слепой.— Голубые?

— Да,— отвечает фру Могенсен.

— Так я и знал,— говорит слепой.— А волосы у вас светлые или темные?

— Да так, средние,— говорит фру Могенсен.

Слепой кивает с довольной улыбкой, а фру Могенсен в растерянности: что он за человек, может, просто одинокий мужчина, пользующийся своей слепотой для того, чтобы говорить и делать вещи, которые непозволительны для других? Но он так располагает к доверию, она совсем не чувствует страха перед ним. И когда слепой поднимается с места, она тоже встает и решает уйти, у нее вдруг пропала охота играть.

Они вместе спускаются по лестнице, и он берет ее под руку и просит перевести его через улицу.

— Вам в какую сторону? — интересуется слепой, и, когда она объясняет, куда ей надо, он спрашивает, не пройти ли им вместе через сквер.

Невдалеке от кафетерия есть скверик с прудом, и фру Могенсен со своим слепым спутником заходят туда. Он по-прежнему держит ее под руку, и она его ведет, хотя надобности в этом наверняка нет: слепой прекрасно знает этот сквер и, безусловно, нашел бы дорогу без всякой помощи с ее стороны.

— Я почти всегда хожу этим путем,— рассказывает он,— а летом люблю посидеть на скамейке у пруда. Мне очень нравится беседовать с людьми, да только многие боятся меня,

потому что я слепой. Но вы ведь меня не боитесь?

— Чего же мне вас бояться? — говорит фру Могенсен.

Пройдя через сквер, они расстаются и идут каждый в свою сторону, но на следующий день они опять встречаются за столиком в кафетерии, и так повторяется каждый день. Фру Могенсен приносит ему кофе, и они сидят разговаривают, а потом идут вместе через сквер. Ничего особенного в этом нет, с другими случаются вещи позначительней, но для фру Могенсен и это немало, ее жизнь словно вновь наполнилась каким-то содержанием, и она замечает, что каждый день заранее радуется встрече со слепым, радуется, пожалуй, даже сверх меры.

## 14

Хенрик довольно редко бывает у Енса и Гитте, но однажды он сталкивается с ними на лестнице, и они его останавливают и принимают расспрашивать, что это его совсем не видно, а Хенрик бормочет в ответ, что некогда, уроки и все такое.

— Ах ты, зубрила, — смеется Енс, и у Хенрика опять неприятное ощущение, что его, как всегда, поддразнивают. Он бурчит, что не только же учеба, мало ли чем он еще занимается, нет у него, что ли, других интересов, и напрасно они думают, что он такой примерный, одни уроки в голове.

— В субботу на следующей неделе у нас вечеринка, — говорит Гитте, — будем справлять день рождения Енса, придешь?

Хенрик придет с большим удовольствием, но старается не показать, как он рад, что его пригласили, и отвечает, что, скорей всего,

да,— насколько он помнит, этот вечер у него пока не занят.

— Мы решили устроить складчину,— продолжает Гитте,— каждый чего-нибудь с собой приносит, в общем, что сможешь, то и прихвати.

Хенрик догадывается, что речь идет о спиртном, и говорит, что ладно, он чего-нибудь прихватит.

— Если хочешь, можешь из друзей кого-нибудь позвать,— говорит Энс,— вход для всех свободный, без приглашений.

Хенрику некого позвать с собой к Энсу и Гитте, но вечером, когда он лежит в постели, он вдруг вспоминает о Сусанне. Хенрик часто провожает ее на автобусную остановку, до большего у них дело не дошло, хотя у него и зреют дерзкие планы, например предложить ей сходить вместе в кино или еще что-нибудь в этом роде. А что если спросить Сусанну, не хочет ли она пойти с ним на вечеринку, это же как раз отличный предлог,— эта мысль повергает его в такое волнение, что он не может уснуть, раздумывая над тем, в какой форме делают девушкам подобные предложения.

Подумаешь, какая сложная проблема — спросить девушку, не хочет ли она пойти на вечеринку, но для Хенрика такие вещи действительно проблема. Дни идут, а он все никак не отважится пригласить Сусанну, хотя на каждом уроке решает, что уж на следующей перемене — обязательно, и разрабатывает подробный план действий. Он настолько поглощен своими мыслями, что отвечает еще бестолковей обычного, будто сам себя старается превзойти в привычной роли шута, и это окончательно лишает его уверенности в себе. Он утрачивает с таким трудом обретенную решимость, и у него пропадает всякое настро-

ение спрашивать о чем-либо Сусанну. По своему обыкновению он проводит перемены, стоя возле одной из групп и делая вид, будто живо интересуется темой разговора, а Сусанна переходит от группы к группе и встречается во все дискуссии, иногда и Хенрику что-нибудь скажет, но вскользь, мимоходом, и это застигает его врасплох, а пока он успеет собраться с мыслями, она уже устремляется к следующей группе. Ничто ему не мешает просто-напросто обратиться к ней и спросить, нет ли у нее желания пойти с ним в субботу на вечеринку, разве это дурно или стыдно — спросить девушку, не хочет ли она пойти на вечеринку, может, она даже обрадуется, ну а в худшем случае поблагодарит и откажется. Однако Хенрик для таких вещей совершенно не приспособлен, и дни бегут, а он все не находит случая ее спросить.

Но вот однажды ему повезло, они вместе идут с курсов, и он говорит себе: теперь или никогда. Он чувствует, что это последняя возможность, и если он ею не воспользуется, то так и не пригласит Сусанну. Но она все время о чем-то болтает, и он в затруднении, как приступить к делу, а когда она на секунду умолкает, заготовленная фраза вдруг вылетает у Хенрика из головы, и только когда они уже стоят на остановке и в конце улицы показался автобус, он отчаянно бросается головой в омут.

— Ты не хочешь в субботу пойти на вечеринку? — произносит он, чувствуя, как краска заливает лицо.

— На вечеринку? — переспрашивает она. — А куда?

— К одним моим друзьям, — говорит Хенрик. — Они живут в квартире над нами.

— Не знаю, может быть, — только и успева-



ет она сказать, тут подъезжает автобус, и она исчезает, а бедный Хенрик стоит и теряется в догадках, как понимать ее ответ. Весь остаток дня он раздумывает над тем, что означает ее «может быть». Надо ли это понимать так, что она не знает, сможет ли пойти, хотя ей и хочется, или это следует понимать в том смысле, что она не уверена, хочется ли ей идти на вечеринку с Хенриком? Он поворачивает ее слова и так и этак, но до смысла докопаться не в состоянии. Ну да ладно, он ей сказал, а дальше как хочет, теперь дело за ней. Должна же она ответить определенно, пойдет она или нет, во всяком случае, он со своей стороны сделал, что мог, и ему ничего не остается, кроме как ждать ее ответа.

Но ни завтра, ни послезавтра она в разговоре ни разу не вспоминает о его приглашении, и Хенрик злится на себя, что дотянул тогда до последнего, дождался, пока подошел автобус, и в результате не успел сразу получить от нее вразумительный ответ. А теперь вот начиная все сначала, причем на этот раз еще труднее спрашивать, потому что ее молчание может означать, что ей неохота, и получится, что он навязывается и только зря перед ней унижается. Он более всего склонен вообще махнуть на это рукой, но в то же время ему жалко расставаться с надеждой привести с собой на вечеринку Сусанну, и ночью он опять не спит, лежит и мысленно репетирует, как он самым естественным тоном задаст ей еще раз тот же вопрос. Но днем все выглядит по-иному и у него ничего не выходит. В пятницу, накануне вечеринки, он все еще не знает, пойдет она или нет, но на перемене перед самым последним уроком она вдруг сама к нему обращается:

— Ты что-то говорил насчет вечеринки.

— Вечеринки? — повторяет Хенрик, будто

он уж и забыл об этом.— Ах да, верно, ну как, пойдешь?

— Не знаю, может быть,— говорит она,— а где это будет?

Хенрик дает ей адрес. Вообще-то надо бы ей предложить встретиться сначала у него, но нет, на это у него прыти не хватает.

— Ну так что, придешь?— спрашивает он снова.

— Думаю, что да,— отвечает она.

Ответ по-прежнему не очень определенный, но Хенрик уверен, что она придет, а иначе зачем бы ей самой заговаривать об этом и выяснять адрес? Конечно, придет, она согласна пойти с ним на вечеринку, и Хенрик не помнит себя от радости, на последнем уроке его не узнать, он поднимает руку и отвечает не хуже других, и при всем желании невозможно найти повод, чтобы над ним посмеяться. Когда человек невезучий, как Хенрик, ему не так уж много нужно, чтобы преобразиться до неузнаваемости, вполне достаточно, чтобы девушка согласилась пойти с ним на вечеринку. И Хенрик одним махом покончил с ролью классного шута, он проникся удивительной, совершенно непривычной для него верой в собственные силы и знает, что отныне все станет по-другому. Впервые в жизни он чувствует себя на высоте положения.

В субботу родители уезжают на дачу, и квартира остается в его полном распоряжении. Он купил пива, чтобы взять его с собой, а в кладовке он находит бутылку портвейна, которую решает заначить в надежде, что отец забыл о ее существовании. Там же стоит бутылка виски, он приносит ее в гостиную и наливает себе немножко в стакан. Он рад, что идет на вечеринку, но чуточку волнуется, и ему, наверно, совсем неплохо выпить для

храбрости стаканчик виски. Пригубив, он сразу делается спокойнее. А хорошо вот так сидеть одному и потягивать виски, вообще-то он бы с наибольшим удовольствием никуда не пошел, а остался сидеть здесь один со своим виски. Во всяком случае, торопиться некуда, он слышит, что у них там уже началось веселье, может, и Сусанна уже пришла, но все-таки лучше подождать. Неприятно быть в числе самых первых, да потом он и здесь отлично проводит время, ему не к спеху. Он замечает, что стакан пуст, и наливает себе еще, побольше, чем в первый раз. Ладно, сейчас вот допьет и пойдет наверх.

Прежде чем уйти, Хенрик наливает себе в третий раз. Он не привык к виски, и выпитое дает себя знать, но ощущение очень приятное. Он же не пьян, говорит он себе, он всего лишь сделал почин для поднятия духа. Теперь он чувствует себя свободно и не сомневается, что сегодня вечером он сможет держаться уверенно и независимо и не будет смущаться в присутствии Сусанны, если, конечно, она придет. Хенрик вдруг понимает, что до сих пор не знает точно, придет ли она, но, как ни странно, его это даже не особенно интересует. Хочет — пожалуйста, пусть приходит, а вообще дело ее, ему надоело беспокоиться по этому поводу, и, кстати сказать, там небось и без нее девушек хватает.

У Енса и Гитте двери настежь, и Хенрик входит без звонка. В квартире ужасающий шум и гвалт, оглушительно гремит музыка, все кричат, перебивая друг друга, и Хенрик думает: хорошо, что его родителей нет дома, отца бы удар хватил, если б пришлось смотреть телевизор при таком грохоте над головой. Народу собралось множество, некоторых Хенрик знает, но многих видит впервые. Он

пытается найти глазами Сусанну, но ее нигде не видно, и он, несмотря ни на что, чувствует укол самолюбия.

Но ему не приходится долго стоять размышлять о Сусанне, Гитте подбегает и заключает его в объятия, так что принесенные бутылки чуть не вываливаются у него из рук.

— Поставь их на стол,—говорит она,—и пошли с тобой танцевать.

Хенрик ставит бутылки на стол и идет танцевать с Гитте. Танцует он не особенно хорошо, но сегодня у него получается блестяще. Хенрик в ударе: он и танцует, и весело болтает, его действительно просто не узнать. Он выкрикивает что-то такое, от чего Гитте начинает смеяться, это удивительное ощущение — говорить вещи, которые заставляют людей смеяться. Хенрику не впервой смешить людей, но обычно они смеются потому, что он ведет себя как дурак и несет какую-нибудь чепуху, а сегодня — потому, что он острит, и Хенрик словно открывает в себе нечто новое, о чем он раньше не подозревал, и чувствует, что отныне все у него будет совсем по-другому. В глубине души он, может, и догадывается о той роли, которую сыграло выпитое виски, а ведь виски вечно пить не будешь, но ему кажется, что это и не понадобится. Теперь, когда он узнал, на что способен, он и без виски будет на высоте, он станет человеком совсем другого склада, чем был до сих пор, остроумным, умеющим нравиться, центром и душой всякой компании. На курсах он включится в одну из групп или, быть может, будет переходить от группы к группе, как Сусанна, и везде отпускать остроумные и меткие замечания, вызывающие всеобщий смех. Перед ними предстанет совершенно новый, преобразившийся Хенрик.

Потом он идет танцевать с какой-то незнакомой девушкой, а немного погодя оказывается вдруг за столом с бутылкой пива в руке. И тут он обнаруживает, что сидит рядом с рабочим-наборщиком и тот тоже держит в руке бутылку пива и кивает ему, как старому приятелю.

— Твое здоровье,— говорит он, чокаясь с Хенриком.

— Твое здоровье.— Хенрик пьет, стараясь не пролить на себя, он не привык пить из бутылки.

У наборщика опыта заметно больше, он залпом втягивает в себя полбутылки, потом обтирает губы тыльной стороной руки и делает локтем движение в сторону собравшихся.

— Маменькины сынки,— бурчит он.

— А?— Хенрик не понял, что он сказал.

— Маменькины сынки,— повторяет наборщик и наклоняется к самому уху Хенрика,— сказать тебе одну вещь?

— Скажи,— отвечает Хенрик.

— Сказать тебе одну вещь?— переспрашивает наборщик, дохнув пивными парами прямо Хенрику в физиономию.

— Ну скажи, скажи,— говорит Хенрик, которому не терпится услышать, что же такое откроет ему наборщик.

— Через несколько лет,— говорит наборщик, снова указывая в сторону собравшихся,— знаешь, что они сделают?

— Нет, не знаю,— говорит Хенрик.

— Ты не знаешь, что они сделают?

— Нет.

— Пошлют нас с тобой ко всем чертям, начхать им будет на таких, как ты да я, вот помяни мое слово.

Хенрик не совсем понимает, куда он гнет, но он уловил, что наборщик видит в нем единомышленника, и Хенрик тоже чувствует свою солидарность с ним, начисто забыв, что сам-то он решил переметнуться в другой лагерь и стать студентом. В эту минуту он чувствует одно: что наборщик ему товарищ, у них общие интересы, оба они рабочие и прекрасно друг друга понимают.

— Студентишки, интеллигентские морды,— шипит Хенрик.

И наборщик прыскает и чокается с ним бутылкой.

— Точно,— говорит он,— твое здоровье, браток.

Внезапно Хенрик замечает Сусанну, она стоит в дверях, а с ней какой-то чудной парень в довольно-таки странной одежде. Хенрик мгновенно забывает о своем новоиспеченном друге, встает и подходит к Сусанне.

— Все-таки пришла,— говорит он.

— Как видишь.— Она кивает на парня в странной одежде.— Это Пер,— сообщает она.

Пер слегка двигает пальцами в знак приветствия, и Хенрик сразу же проникается к нему сильнейшей неприязнью. Какого черта она притащила с собой этого типа, кто ее просил! Все его приподнятое настроение разом улетучивается, но он берет себя в руки и спрашивает Сусанну, не хочет ли она чего-нибудь выпить.

— А пиво здесь есть?— оживляется Сусанна, и он ведет ее к столу.

Хенрик выбирает место подальше от наборщика, неохота ему больше слушать его дурацкий треп, но от Пера избавиться невозможно, он, конечно, увязывается за ними и садится рядом.

Хенрик открывает каждому по бутылке.

Пер все время молчит и не проявляет особого интереса к окружающему, из чего Хенрик делает заключение, что он, видимо, не слишком опасный соперник, и настроение у него снова поднимается.

— Пошли потанцуем? — предлагает он Сусанне.

Пиво взбодрило Хенрика, он опять чувствует себя свободно, шутит и острит, танцуя с Сусанной.

— Ты сегодня какой-то совсем другой, — говорит она, взглядываясь в него, — я даже не знала, что ты такой бываешь.

— Чем другой? — спрашивает Хенрик, ему интересно услышать, какой он сейчас.

Но Сусанна только смеется и пожимает плечами.

— Что это за парень с тобой пришел? — спрашивает Хенрик.

— Парень-то? Да просто Пер, — отвечает Сусанна, будто это вполне достаточное объяснение.

Хенрик не прочь бы и дальше танцевать с Сусанной, но нельзя же висеть друг на дружке весь вечер. Сусанна очень скоро осваивается и начинает по своему обыкновению переходить от группы к группе, всюду непринужденно ввязываясь в разговор. Она танцует то с одним, то с другим, а Хенрик чувствует себя вроде как лишним, но, если выпить, становится легче, и он то и дело прикладывается, он уже и счет потерял, сколько он выпил за сегодняшний вечер. Время от времени он идет танцевать с какой-нибудь девушкой, оказавшейся ближе всех других, а потом опять усаживается за стол и выпивает рюмочку. В какой-то момент он обнаруживает, что сидит рядом с Пером, у которого по-прежнему такой вид, будто вся эта кутерьма не вызывает у

него особого интереса, и Хенрик внезапно меняет свое отношение к Перу, Пер ему чем-то симпатичен, и он делает попытку завязать с ним разговор.

— Слушай, а откуда ты знаешь Сусанну?— спрашивает он.

— Встречал,— коротко отвечает Пер, явно не испытывая желания углубляться в эту тему.

Втянуть Пера в разговор оказывается делом нелегким, но Хенрик все равно чувствует к нему какую-то непонятную симпатию. Пер немногословен, но ничуть не заносчив, он добродушен, и Хенрику почему-то кажется, что, не сделайся он в этот вечер совсем другим, новым человеком, он бы, наверно, близко сошелся с Пером. Они с Пером могли бы стать друзьями, ведь у Хенрика никогда не было настоящего друга, и он опять пытается втянуть Пера в разговор, но тут подходит Енс и опускается на стул рядом с ним.

— А у тебя такая девушка занятная,— говорит он, и Хенрик тут же забывает о Пере.

Сусанна — его девушка, вот так, Енс сам это сказал, и Хенрик кивает в знак согласия, да, верно, Сусанна действительно очень занятная. И как только представляется возможность, он опять приглашает ее танцевать, будто торопясь подтвердить и обратить всеобщее внимание на тот факт, что она его девушка. Но немного погодя она снова куда-то исчезает, а за столом рядом с Хенриком на этот раз оказывается наборщик. Глаза у него налились кровью, лицо побагровело, и он непрерывно задевает рукой и опрокидывает батарею стоящих перед ним порожних бутылок.

— Интеллигентские морды,— бормочет он, глядя на Хенрика мутным взором,— студен-тишки говенные, вот они кто.



Но Хенрик уже не испытывает к наборщику прежнего расположения и не стремится к солидарности с ним, поэтому он встает и уходит на другой конец комнаты, где какая-то девушка сидит и плачет.

— Тебя кто-нибудь обидел? — спрашивает Хенрик, искренне желая утешить ее, но ей, по-видимому, ни к чему его утешения.

— Уйди, пожалуйста, оставь меня в покое, — говорит она.

И Хенрик идет искать себе другое место, где к нему отнесутся более радушно.

Неожиданно перед ним возникает Сусанна.

— Знаешь, с Пером совсем плохо, — говорит она.

— То есть как плохо? — Хенрик уже позабыл о своей недавней симпатии к Перу, его опять злит дурацкая идея Сусанны притащить с собой этого парня.

— Готов, видишь? — коротко отвечает Сусанна, указывая на Пера, лежащего в кресле; вид у него как у мертвеца. — Надо его куда-нибудь убрать.

Хенрик не прочь отделаться от Пера, все же он какой-никакой, а соперник, хотя за весь вечер ни разу не выказал интереса ни к Сусанне, ни к кому-либо другому. А теперь у него вообще вид как у мертвеца, но мертвого соперника тоже не лишне убрать с дороги, и тут Хенрика осеняет.

— Мы можем оттащить его ко мне, — говорит он, — дома никого нет.

— А где твои родители? — спрашивает она.

— На даче, — отвечает Хенрик, и до него вдруг доходит, что перед ним открывается единственная в своем роде возможность... Пер, находящийся в бессознательном состоянии, Сусанна и он, Хенрик, со своим новым

стилем жизни—из этого ведь может, пожалуй, кое-что получиться...

Пер все же не совсем мертв, Сусанне удастся пробудить в нем искорку жизни, но едва ли он сможет долго продержаться.

— Пошли, Пер, тебе нужно лечь,—говорит ему Сусанна.

Пер лепечет что-то нечленораздельное и снова поникает.

В конце концов они ухитряются поставить его на ноги и, поддерживая с двух сторон, выволочь из комнаты, не возбудив у присутствующих особого любопытства. С большим трудом они стаскивают его вниз по лестнице и доставляют к Хенрику в квартиру, продолжая ценою огромных усилий удерживать в вертикальном положении.

— Куда мы его пристроим? — спрашивает Сусанна.

— Да хоть ко мне на кровать,—говорит Хенрик.

Они взгромождают Пера на кровать, раздевать его они уже не в силах и оставляют как есть, в его странном грязном наряде. Весь он какой-то ужасно неопрятный, Хенрика просто тошнит от его вида, надо будет завтра не забыть сменить постельное белье.

— Ну вот,—говорит Сусанна,—погляди на него: хорош, а?

— Я только не могу понять,—говорит Хенрик,—он же, по-моему, не так уж много пил.

— Пер—он влопался,—говорит Сусанна,—теперь все, ничего не сделаешь.

Хенрик не очень понимает, что она имеет в виду, а спросить не решается. Сверху доносится веселый шум, но его больше не тянет туда. До его сознания дошло, что он впервые остался наедине с Сусанной, и ему не хочется

возвращаться в компанию, где она опять сразу куда-нибудь исчезнет.

— Не пойдем обратно, ну их, верно?— говорит Сусанна, словно читая его мысли.

У Хенрика тревожно щемит в груди, если бы знать, какого шага от него ждут. Он боится сделать что-нибудь не так, боится нечаянно все испортить и поэтому стоит, как дубина, и не может ни на что решиться.

— Хочешь виски?— говорит он наконец.

— Неплохо придумано,— кивает Сусанна.

Бутылка с виски все еще стоит на столе в гостиной, Хенрик приносит стаканы и воду и наливает себе и ей. Он первым отхлебывает солидный глоток и сразу чувствует себя опять на высоте.

— Что это значит, что Пер влопался?— спрашивает он.

— То и значит, что влопался, черт бы его побрал,— говорит Сусанна.

— А зачем ты все-таки его привела?

— Привела и все, а что, нельзя?

Хенрику очень хочется узнать, в каких она отношениях с Пером, но он видит, что ей не по вкусу его расспросы. Да и не все ли равно, во всяком случае, сейчас Пер не представляет для него никакой опасности.

— А тебе, если честно, нравится учиться на курсах?— неожиданно спрашивает Сусанна.

Хенрик не знает, что ей ответить. Если быть откровенным, то нужно сказать, что он эти курсы терпеть не может, но получится глупо: кто ж его тогда за уши тащил? С Сусанной он по-прежнему чувствует себя немного неуверенно, ему все мерещится в ее словах какой-то скрытый смысл.

— По крайней мере, по тебе непохоже, чтоб нравилось,— говорит она, не дождавшись ответа.

— Понимаешь, иногда мне бывает довольно-таки скучно,— уклончиво отвечает Хенрик,— но что ж поделаешь, раз надо.

— Вот и со мной такая же история,— говорит она.

И с ней такая же история, и она сама в этом признаётся, Хенрику даже не верится, он хочет что-то сказать, но тут вдруг к горлу подкатывает тошнота, сильная и непреодолимая.

Хенрик весь вечер лихо пил, и теперь это все просится наружу. Он пробует не поддаваться, но это невозможно, лоб покрывается холодным потом, он вскакивает и выбегает из комнаты, прикрывая рот рукой.

Его рвет и рвет, неудержимо, даже удивительно, сколько у него внутри умещалось. Он старается не слишком шуметь, да где уж, все равно слышно на весь дом, к тому же он, конечно, забыл закрыть дверь в гостиную. На глаза его навертываются слезы, и от напряжения, и от злости на себя: опять он выступил в роли шута и сам себе все испортил.

Но вот наконец приступ проходит, опустевший желудок еще несколько раз рефлекторно сокращается, но в нем ничего не осталось, и Хенрик медленно распрямляет спину. Он смотрится в зеркало, ну и вид, лицо прямо-таки зеленое, все перекошенное, волосы лохматые, спутанные. Да, лакомым кусочком его сейчас никак не назовешь, да он, уж если на то пошло, никогда им и не был и никогда не будет, ему надеяться не на что, а вся эта выдумка, будто бы он стал другим, преобразился, всего-навсего самообман.

Он брызгает себе в лицо холодной водой и делается немножко похож на человека, потом он расчесывает волосы и становится еще чуточку нормальнее. Напоследок он чистит

зубы, после чего собирает все свое мужество и идет в гостиную, силясь сделать вид, что ничего не случилось. Но Сусанну не проведешь.

— Ты что, совсем дошел? — спрашивает она.

— Да нет, — говорит Хенрик, — так, чуть-чуть мутило.

— Выглядишь ты кошмарно, — говорит Сусанна, — ложись-ка поскорей, ты где будешь спать?

Хенрик нигде не собирался спать, но он чувствует дрожь в коленках и понимает, что долго на ногах не удержится, и ему остается лишь окончательно признать свое поражение.

— На отцовской кровати, — говорит он с тупым безразличием ко всему на свете.

Сусанна идет за ним в спальню и помогает раздеться, будто он маленький мальчик. Это унижительно, однако Хенрик слишком слаб, чтобы протестовать, пусть делает, что хочет; но, свалившись в постель, он зажимуривает глаза, чтобы спрятать от нее слезы унижения, стыда и обиды. Некоторое время он лежит, наслаждаясь прохладой постели, и ему постепенно становится лучше, а когда он вновь открывает глаза, то обнаруживает, что Сусанна раздевается, и вскоре слышит, как она мягко плюхается рядом, в постель его матери.

Хенрик лежит, затаив дыхание, и лихорадочно думает, что ему надо сделать или сказать, но тут Сусанна сама касается его рукой и спрашивает мягким, даже ласковым голосом, какого он никогда у нее не слышал:

— Ну как, получше тебе?

Ему уже стало гораздо лучше, и он сжимает ей руку, едва сдерживаясь, чтобы не расплакаться, а немного погодя он замечает, что она придвигается ближе к нему, и он беззвучно

молит господа хоть на этот раз, в порядке исключения, ниспослать ему удачу и не дать осрамиться как дурачку.

## 15

На радио шум и переполох, интриги, шушуканья, разноречивые толки, неизвестно, кого слушать и кому верить. Поговаривают, будто передачу «Позвоните на радио» собираются прикрыть, она стала чересчур популярна, а это кое-кому не по вкусу. Ельберг пытается добиться ясности, он чувствует, что против него плетутся козни, и в конце концов терпение его лопается, он берет расчет — и прощай, радио.

Такому человеку, как Ельберг, бояться нечего, он без работы не останется, и спустя недолгое время он уже сотрудник утренней газеты, куда простые люди могут звонить каждый день в специально отведенные часы, с двенадцати до двух. «Позвоните Ельбергу», — приглашает газета своих читателей, и в указанный промежуток времени ему звонят и звонят без перерыва. Ведь есть так много одиноких и несчастных людей, которым не с кем даже поговорить, а теперь они могут позвонить Ельбергу и рассказать о том, что их гнетет.

— ...И вот хозяин грозит мне выселением, но пусть меня лучше выкинут на улицу, чем я расстанусь со своей Бусинкой, она — единственное, что у меня осталось.

— ...И вы знаете, господин Ельберг, последнее слово, которое мой муж сказал перед самой смертью, было «тут». «Тут», сказал он мне — и умер. Как вы думаете, что он имел в виду?

— М-м-м,— неуверенно тянет Ельберг, откуда ему знать, что имел в виду муж этой дамы, произнося свое последнее слово.

— Сказал «тут» и после этого умер. И с тех пор я все время ломаю голову, что же он хотел мне сказать, может, он мне важную весть подавал, как вы думаете?

Ельбергу приходится высказывать свое мнение по поводу всевозможных жизненных проблем, и он старается в каждом случае найти слова утешения. Это почти такая же работа, какая была у него на радио, с той только разницей, что здесь нет никаких викторин и никаких грампластинок.

— ...Я осталась совсем одна, слова молвить не с кем, а дети—им и в голову не приходит меня проводить.

— ...И теперь налоговое ведомство требует, чтобы я уплатил налог с суммы, которую я в глаза не видел.

— ...А жена меня не понимает.

Много есть людей, которым тяжело живется, и Ельберг умеет с каждым разговаривать так, будто именно в нем принимает особое участие, и при этом он каким-то образом умудряется вовремя закруглить и свернуть разговор, чтобы и другие, ожидающие своей очереди, получили возможность выговориться. «Но это чрезвычайно интересно,— уверяет Ельберг своих друзей,— перед тобой проходит столько человеческих судеб».

Однажды Ельбергу звонит некто по имени Могенсен, торговец из Вальбю.

— Не знаю, помните ли вы меня, господин Ельберг,— говорит он,— я однажды разговаривал с вами, когда вы еще работали на радио.

— Да, по-моему, мне что-то такое смутно припоминается,— говорит Ельберг.

Многие из тех, кто ему звонит, уже разговаривали с ним раньше, в бытность его на радио, и все они надеются, что он их помнит. Им кажется, раз они сами не забыли Ельберга, значит, и он не мог их забыть, и Ельбергу жаль их разочаровывать, поэтому он всегда говорит, что ему смутно что-то припоминается.

— Мы еще тогда говорили о моем магазине,— продолжает торговец.

И Ельбергу опять что-то смутно припоминается.

— Сейчас, вероятно, трудное время и торговля идет не совсем так, как нужно?— спрашивает Ельберг, резонно полагая, что лавочник едва ли стал бы звонить, если бы торговля шла хорошо.

— Как вам сказать,— отвечает лавочник,— видите ли, она бы могла идти, как нужно, но дело упирается в деньги. И почему нам, маленьким людям, так трудно раздобыть ссуду?

— В наши дни вообще нелегко получить деньги в долг,— замечает Ельберг.

— Нелегко, говорите?— с горечью повторяет лавочник.— Так вот послушайте, что я вам расскажу. Тут у нас поблизости совсем недавно открылся новый супермаркет, и, представьте себе, ходят слухи, что его уже собираются расширять. Как по-вашему, кто его финансирует?

— М-м-м,— нерешительно тянет Ельберг, он понятия не имеет, кто может финансировать этот супермаркет,— надо полагать, банки финансируют.

— Вот именно, банки,— говорит лавочник,— и деньги, заметьте, сразу находятся, когда речь идет о клиентах покрупней, а вот



некоторые другие мизерной суммы не могут допроситься...

Лавочник распространяется о деньгах и банках, о государстве и о наркоманах, на лечение которых ухлопывают такие средства, лучше бы мелких торговцев поддерживали! Он приходит в волнение и все более распаляется, но потом постепенно сбавляет тон, и под конец его голос звучит совсем жалобно.

— Как мне быть, господин Ельберг, я пока не хочу сдаваться, но мне страшно, мне так страшно за свое будущее.

— А вы не пробовали обсудить положение с женой? — спрашивает Ельберг.

Нет, в том-то и дело, что этого лавочник не пробовал. С Ельбергом он может говорить о своих затруднениях, ничего не тая, а с женой не может, потому он и звонит.

— Главное — постарайтесь не падать духом, — говорит Ельберг, — увидите, какой-нибудь выход непременно найдется.

Лавочник не спрашивает, какой же это выход, он, разумеется, прекрасно понимает, что Ельберг не может ничем помочь, выслушает — и на том спасибо. И Ельберг продолжает его слушать, изредка вставляя короткие замечания, и одновременно пытается как можно деликатнее подвести беседу к концу, чтобы и другие могли дозвониться. Это непросто, но мало-помалу до лавочника доходит, что время его истекло, он просит прощения за затянувшийся разговор, благодарит Ельберга за его долготерпение и спрашивает, можно ли еще когда-нибудь позвонить.

— Ради бога, — говорит Ельберг, — можете звонить, сколько вам угодно.

И не успевает он положить трубку, как снова приходится ее снимать, чтобы опять

выслушивать излияния несчастного человека. Эта работа выматывает все нервы, и он бы, конечно, долго не выдержал, если бы она так хорошо не оплачивалась.

У лавочника почва уходит из-под ног, поэтому он и позвонил Ельбергу. Скоро нужно платить по векселю, а он не представляет себе, откуда он возьмет деньги. В кассу магазина деньги поступают каждый день, но они ведь все время и расходуются, надо же платить и за квартиру, и за электричество, и налог с оборота, и еще разные взносы и сборы и, кроме того, постоянно закупать новые товары. Без товаров магазин не магазин, необходимо иметь достаточный выбор, иначе покупатели разбегутся. В кассу, по существу, возвращаются те деньги, которые были истрачены вперед, и никакого излишка на оплату векселя, грозной тучей нависшего над его головой, не остается. А тут еще банк: время от времени они уведомляют его по телефону, что его кредит опять превышен, а он говорит, что весьма сожалеет, это просто его недосмотр и он немедленно наведет порядок. И приходится пускать на это деньги, предназначавшиеся другим кредиторам, в надежде, что он сумеет как-нибудь заговорить им зубы, пока в кассе не появятся новые деньги. Нужно иметь железные нервы, чтобы вести торговлю подобным образом, а у него нервы уже не железные. Когда-то он был молодым оптимистом, копил деньги, видя перед собой ясную цель, и действительно открыл собственное дело. Из него вышел умелый торговец, магазин креп и набирал силу, успехи превзошли его ожидания, и будущее рисовалось ему в радужном свете.

Сейчас его магазин по-прежнему существует, но сколько он просуществует, неизвестно. Сейчас наступил период застоя, это все говорят, как будто у людей деньги перевелись. И не он один это почувствовал, в супермаркете это тоже наверняка чувствуется, но разница в том, что у них достаточно средств, чтобы безбедно дожить до лучших времен, а у лавочника средств не хватает, ему скоро платить по векселю, и спасти его может лишь чудо. Но он не верит в чудеса, он вообще теперь мало во что верит, он уже пожилой человек, и жизнь его трещит по всем швам.

В это время дня самое затишье, покупателей нет и лавочник может в полном одиночестве услаждать свой слух «Старой мельницей» и прочими песенками, он уже выучил их наизусть, они давно набили оскомину, но он не хочет выключать магнитофон, пусть крутится: вдруг все-таки зайдет покупатель, музыка поднимет ему настроение — глядишь, он купит чуточку больше, чем собирался. Самому лавочнику эта музыка настроения не поднимает, скорее, наоборот, она его, чем дальше, тем больше, приводит в подавленное состояние, эти мелодии всегда будут у него ассоциироваться с векселями, банками и неоплаченными счетами.

Лавочник жалеет, что позвонил Ельбергу. Пустая затея, на что он рассчитывал? Надеялся, что Ельберг предложит расплатиться за него по векселю или дать ему денег взаймы? Да нет, конечно, ничего такого он не ожидал, просто есть предел человеческой выдержке: когда наваливается столько неприятностей, невозможно нести их бремя одному, необходимо поделиться с другим человеком, а у лавочника никого, кроме Ельберга, нет. Правда, он обещал жене, что они будут вместе

обсуждать дела, но, к сожалению, разговаривать с собственной женой не так-то легко, к тому же между ними наступило странное охлаждение с тех пор, как он отказался от ее помощи в магазине. Гораздо легче открыться Ельбергу, и ведь Ельберг, надо сказать, отнесся к нему с сочувствием и пониманием, как и в тот раз, когда он говорил с ним из радиостудии; помочь он, естественно, ничем не может, он может лишь выслушать его, но и это немало. Некоторое время тому назад лавочник ходил на прием к врачу, так тот ему только таблетки выписал, даже не выслушал его толком, врачам ведь тоже надо жить, а если часами сидеть слушать жалобы пациентов, на это не проживешь. Когда-то, желая облегчить душу, люди шли к священнику, но теперь и священникам, наверно, некогда вести такие разговоры, впрочем, лавочник совсем не ходит в церковь, не знает даже имени приходского священника, и он бы выглядел более чем странно, заявись он вдруг к совершенно незнакомому духовному лицу да начини морочить ему голову своими передрыгами. Трудно нынче найти человека, с которым можно поговорить о своих бедах, а потребность в таком собеседнике есть, и поэтому очень ценно, что одна из крупных утренних газет предоставляет людям возможность выговориться ежедневно с двенадцати до двух часов.

В дополнение ко всем прочим расстройством до лавочника дошли слухи о том, что супермаркет будет расширяться, и это его окончательно добило. Пока неизвестно, верно ли это, но он воспринял неприятное сообщение как новую, еще более серьезную угрозу своему существованию, словно он лицом к лицу столкнулся с силой, которая неминуемо

задушит его. Нужно срочно выяснить, насколько достоверны эти слухи, и однажды вечером, закрыв магазин, он отправляется на разведку, хочет попробовать что-либо разнюхать, но его поход кончается неудачно. Когда он огибает здание супермаркета, пытаясь обнаружить какие-либо признаки предстоящей перестройки, его останавливают двое мужчин в форменной одежде и с овчаркой на поводке. Вид у всех троих злобный, того и гляди укусят, и один спрашивает лавочника, что он тут высматривает.

— Я просто хожу гуляю,— отвечает лавочник,— а что, разве это запрещено? И какое вам, собственно, дело?

— Ты язык-то не распускай,— говорит человек в униформе, дергая пса за поводок, так что тот грозно оскаливается.— Давай-ка лучше топай отсюда.

Лавочник настолько ошеломлен, что не находится, что ответить, безнадежно вступать с ними в пререкания, лучше добровольно отступить, и он поворачивает назад, а двое с собакой некоторое время идут следом, чтобы удостовериться, что он действительно уходит восвояси. Ну и заведение этот супермаркет, не очень-то они дружелюбны к окружающим! У лавочника просто в голове не укладывается, как это люди по своей охоте пользуются услугами такого магазина. Он всю ночь лежит и думает об этом происшествии и весь следующий день не может успокоиться. Его возмущает, что такой вот супермаркет, возможно, получит миллионный кредит, тогда как ему приходится стоять, держа шляпу в протянутой руке, и никто не хочет прийти ему на помощь. Когда-то, помнится, ему внушали, что он — трудолюбивый и скромный мелкий предприниматель — фундамент и опора обще-

ства, и он гордился той важной ролью, какую он играет. А теперь земля ускользает из-под ног — и никому нет до него дела, сам как хочешь, так и выкарабкивайся. Таков ход общественного развития, а общественное развитие никто не остановит и не переделает, но лавочник не умеет мыслить масштабно, он думает лишь о самом себе, и ему кажется, что с ним обходятся несправедливо.

Вошел покупатель, и лавочник торопится ему навстречу. Покупателю нужна только пачка сигарет, но он не спешит уходить, он болтает с лавочником о том о сем, какой у него стал красивый магазин, и лавочник говорит, что, как же, надо шагать в ногу со временем, а то и в тираж выйти недолго. Но разговоры разговорами, а на пачке сигарет много не заработаешь, покупатель же больше ничем не прельщается. Это, конечно, лучше, чем ничего, но стоило ли огород городить, перестраивать магазин да музыку пускать ради какой-то пачки сигарет, ведь чтобы оплатить этот проклятый вексель, ох сколько пачек надо продать. Когда люди покупают так мало, это еще тягостней, чем когда совсем нет покупателей, и лавочнику сейчас больше всего хочется позвонить опять Ельбергу, но время, отведенное для звонков в редакцию, уже кончилось, да и неразумно с его стороны злоупотреблять терпением Ельберга.

Чтобы утешиться, лавочник берет себе бутылку пива, последнее время это опять вошло у него в обычай. Он усаживается с пивом в задней комнатушке и с тоскою смотрит в пространство, а из репродукторов льется песня про панталончики.

— Ха-ха-ха! — веселится певец, и лицо лавочника нервно подергивается.

Хенрик и его отец не ладят друг с другом, в доме чуть не каждый вечер скандалы и ругань. Фру Могенсен пытается их примирить, но куда там, оба одинаково упрямые и ершистые, ни тот ни другой не желает уступать, и фру Могенсен просто голову теряет — что с ними делать, иногда кажется, бросила бы все и ушла, куда глаза глядят.

Хенрик с отцом ссорятся потому, что оба переживают трудности, такова их реакция на жизненные неурядицы, вероятно, они просто срывают друг на друге зло за свои неудачи. Хенрик, возможно, воображает, что ему бы куда легче жилось, будь его отец сильным человеком, при любых обстоятельствах умеющим оставаться хозяином положения, а не бедолагой, погрязшим в бесконечных неприятностях; а лавочник, возможно, думает, что раз уж у него столько забот, то, право, было бы только справедливо, если бы хоть сын мог служить утешением, если бы сын его был волевым человеком, перед которым открывалось будущее. Но он не верит в возможности сына, у него такое впечатление, что из этой затеи Хенрика с курсами ничего путного не выйдет, что он только время даром теряет, а делать ничего не делает, и это выводит лавочника из себя. Хенрик похож на отца, у них много общего, и они узнают друг в друге собственные черты, вот почему они иногда ненавидят друг друга.

Подозрения лавочника не лишены оснований. Стать другим человеком Хенрику пока что, увы, не удалось, все у него идет через пень колоду, он странным образом застрял на месте, и это в то время, когда собрался было начать новую жизнь.

В воскресенье после вечеринки он проснулся рано и больше уже не мог заснуть. Он лежал, несмело поглядывая на Сусанну, которая крепко спала, повернувшись к нему спиной, а потом встал и сварил себе кофе. Голова была тяжелая с похмелья, но, несмотря на это, он, кажется, никогда не чувствовал себя так прекрасно, как в то воскресное утро. Он сидел один, попивая кофе и глядя в окно, и ощущал небывалую радость и полноту жизни: мир изменился со вчерашнего дня, и ничто, ничто не может теперь остаться, как прежде. Но, по-видимому, все же таких уж больших изменений не произошло, потому что, когда Сусанна наконец встала и пришла к нему пить кофе, она вела себя как обычно, ее мир, судя по всему, ничуть не изменился; поболтав немного о вечеринке и о курсах, она собралась уходить. Хенрика охватило горькое разочарование, он-то воображал, что они проведут вместе весь день; он пытался ее удержать, но она, очевидно, и так потратила на Хенрика слишком много времени, и ей было некогда с ним сидеть.

— До завтра,— сказала она и исчезла.

Пера она с собой не взяла, может, она про него забыла, а Хенрик тоже ни разу о нем не вспомнил, пока он сам около полудня не появился на кухне, чуть бодрей, чем накануне вечером, но такой же малоразговорчивый. Они сели завтракать, и Хенрик снова попытался вывести что-нибудь насчет отношений между ним и Сусанной, но Пер не проявил к этой теме ни малейшего интереса.

— И охота ей, просто не понимаю,— сказал он.

— Чего охота?— спросил Хенрик.

— Да ходить на эти курсы, на что они ей сдались?



Хенрик удивился, чего ж тут непонятного, как будто это плохо — учиться на курсах, но Пер, кажется, вообще держался того мнения, что глупо заниматься каким бы то ни было делом. Когда Хенрик спросил его, что он сам делает, он даже слов никаких не нашел, только молча передернул плечами, но Хенрик все же вытянул из него, что сейчас он обитает в мансарде какого-то дома, куда его пустил один знакомый.

— А когда тебя оттуда выставят, тогда что? — спросил Хенрик.

И Пер опять пожал плечами. Он, как видно, не из тех, кто любит мучиться вопросами и сомнениями, и Хенрик не мог не позавидовать его беспечному отношению к жизни. Он опять заметил, что Пер его чем-то притягивает, что он чувствует себя с ним спокойнее и увереннее, чем с другими людьми. И в мотобанде, и у Енса с Гитте его не покидало ощущение своей разобщенности с остальными, хотя он всегда стремился к сближению, а с Пером ему было на удивление хорошо и спокойно. Пера он не боялся, тогда как всех остальных людей Хенрик, если правду сказать, побаивался.

— Сусанна сегодня спала со мной, — неожиданно сообщил он.

И тотчас пожалел о сорвавшемся с языка признании, но он не мог удержаться, он должен был кому-то рассказать. Пер, однако, от этой новости вовсе не пришел в состояние аффекта.

— Угу, — безучастно откликнулся он.

Хенрик ничего не имел против, чтобы Пер пробыл у него до конца дня, но Пер тоже вскоре ушел, чего уж ему так не сиделось, и Хенрик остался один в пустой квартире. Но его распирало от новых впечатлений, ему

необходимо было с кем-нибудь пообщаться; он поднялся по лестнице и позвонил в дверь к Енсу и Гитте, но ему никто не открыл, либо они еще спали, либо куда-то ушли, и Хенрик ощутил мучительное одиночество. Он спустился вниз, вывел свой мопед и поехал кататься по улицам, но это ему скоро надоело, и он вернулся домой. Он не знал, куда себя деть и чем заняться, вообще-то надо бы приготовить уроки, но он все равно не сможет сосредоточиться. На всякий случай он сделал попытку, но нет, у него ничего не вышло, и тогда он лег на спину на кровать, лежал и смотрел в потолок, и ему казалось, что никогда еще воскресенье не тянулось так бесконечно долго.

В понедельник он встретил Сусанну по дороге на курсы.

— Привет,— бросила она ему,— ну как ты?

— Ничего, спасибо.— Хенрик вспыхнул. Он хотел добавить, что ему было очень приятно или что-нибудь в этом роде, но, пока он искал нужные слова, к ним подошли другие из их класса и слишком поздно было что-либо добавлять.

На уроке он сидел и смотрел на нее, но она к нему не оборачивалась, как раньше, и он не знал, что это может значить. На первой перемене он стал возле нее, ему это казалось таким естественным, а когда она через некоторое время направилась к одной из групп, он машинально последовал за ней. Но она разговаривала в основном с другими, а отдельно к Хенрику ни разу не обращалась, и он был несколько обижен и разочарован, но тем не менее продолжал держаться вблизи нее и на следующих переменах. Он следовал за ней по пятам, как верная собака за своим хозяином, но Сусанна, должно быть, не питает симпатии

к собакам, потому что она вдруг сказала, повернувшись к нему:

— Ну чего ты таскаешься за мной хвостом?

Ее слова причинили Хенрику прямо-таки физическую боль, ему мучительно сдавило грудь, и он поспешно отвернулся, чтоб она не заметила, как он расстроен. Потом он подошел к одной из групп и старательно делал вид, что весьма заинтересован их разговором. Он не смотрел в ее сторону, он был оскорблен и раздосадован, но больше всего он был расстроен и не мог поверить в случившееся.

Он пытался себе внушить, что она не хотела его обидеть, он сам во всем виноват, не надо было так неуклюже себя вести, вполне понятно, что ей не нравится, когда он открыто, у всех на глазах, демонстрирует, что между ними что-то есть. Ему очень хотелось загладить свое неловкое поведение, но он не знал, как это сделать. В классе он все время сидел и смотрел на нее и совершенно не следил за уроком, а когда его вызывали, он понятия не имел, что отвечать. Он больше не отваживался обращаться к Сусанне, хотя сгорал от желания с ней поговорить, но однажды он купил ей в подарок украшение. Из простого металла, на кожаном шнурке, может, оно и не очень красивое, но Хенрик плохо себе представляет, что красиво на девичий вкус, он просто надеялся, что оно ей понравится, вот и все. После нескольких неудачных попыток он наконец подкараулил ее после курсов и проводил до остановки, и она разговаривала с ним как ни в чем не бывало, словно и не помнит об их размолвке, но, когда он вручил ей украшение, на лице ее не выразилось никакого восторга, скорее, наоборот.

— Спасибо, конечно,— сказала она,— но ты, по-моему, спятил.

Это не совсем те слова, которые человек надеется услышать, преподнося подарок своей возлюбленной, и Хенрик соответственно не воспринял их как ободрение и призыв продолжать в том же духе. Ему стало ясно, что, видимо, он чего-то недопонял и опять, как обычно, выступил в роли шута. И он замкнулся в себе и решил, что больше ни за что не будет унижаться.

После этого он держится подальше от Сусанны и старается никогда не вступать с ней в разговор. Ему теперь даже неохота делать вид, что он входит в какую-то из групп, не все ли равно, он просто стоит на переменах один, отдельно от всех, и ни на кого не обращает внимания.

Но ему тягостно каждый день видеть Сусанну и запрещать себе даже приближаться к ней, посещение курсов становится для него мукой, и как-то раз по дороге туда он вдруг принимает отчаянное решение и поворачивает совсем в другую сторону, не вмоготу ему в этот день сидеть на уроках, до того все опротивело. За первым прогулом следует второй, потом третий, он все реже и реже появляется в классе, вместо этого он слоняется по улицам или уезжает куда-нибудь за город, садится на скамейку и размышляет о том, как самым безболезненным образом покончить жизнь самоубийством. Однажды ему вдруг приходит охота побывать в зоопарке, и он бродит между клетками и вольерами, разглядывает зверей, угощает их своими бутербродами, вспоминает детство и чувствует себя одиноким и несчастным. Его мучают угрызения совести, он говорит себе, что так дальше жить нельзя, и опять начинает ходить на курсы, но больше двух-трех дней не выдерживает и снова пускается в странствия по городу. Однажды он

натыкается на Пера и останавливается с ним поболтать, спрашивает, что он здесь делает. Пер отвечает, что он здесь живет, и Хенрик взбирается к нему в мансарду. Комната красотой не блещет, вся обстановка — несколько матрасов, лежащих прямо на полу, один из дружков Пера валяется на своем матрасе, но он никак не реагирует на появление Хенрика и не произносит ни слова. На полу стоит примус, а на нем кастрюля, вокруг разбросаны тарелки с объедками — Хенрик в жизни не видывал такого жуткого логова, тем не менее он не уходит, а сидит часа два, разговаривает с Пером, насколько с Пером можно разговаривать. Он сам не знает, почему его так тянет к Перу, может, дело просто в том, что Пер над ним не подшучивает, не острит и не говорит ему, что он спятил. Но когда он затем выходит на улицу, то чувствует озноб во всем теле, хотя день не такой уж холодный, и он решает больше никогда сюда не приходить.

С Хенриком творится неладное, и он сам это сознает, но не знает, как быть. Несколько дней он аккуратно посещает курсы, сидит на уроках, не сводя глаз с затылка Сусанны, и по обыкновению неправильно отвечает на вопросы преподавателей, а потом снова устраивает себе отдых. Он слоняется по городу и в один из дней все же заглядывает к Перу; мансарда производит на него такое же жуткое впечатление, как и в прошлый раз, но он все равно остается посидеть. В другой день он отправляется в зоопарк и бродит там, разговаривает с животными. Он уже многих хорошо знает, угощает их бутербродами и гладит слона по хоботу, слон такой симпатичный, залезть бы к нему за решетку и укрыться у него от всего света. Хенрику семнадцать лет, скоро исполнится восемнадцать, он уже почти взрослый, и

пора бы ему взяться за ум, а он все болтается без дела да кормит зверей вместо того, чтобы как следует учиться.

## 17

Жизнь фру Могенсен не назовешь интересной, большую часть дня она проводит в одиночестве, даже поговорить не с кем. Она знает, в других квартирах их дома сидят другие женщины, которым тоже не с кем поговорить, но ведь она с ними не знакома, правда, она здороваается с ними, встречаясь на лестнице, но никогда не приглашает их к себе посидеть за чашечкой кофе да поболтать по-соседски о том о сем—это было бы по меньшей мере странно с ее стороны после того, как они много лет подряд всего лишь здороваются друг с другом на лестнице. Возможно, ее соседки тоже иногда думают, как хорошо было бы пригласить фру Могенсен на чашечку кофе и посидеть вместе поболтать, но что толку: никто из них все равно не способен проявить инициативу, все они боятся друг друга и не решаются сделать первый шаг и поэтому продолжают сидеть каждая сама по себе, замкнувшись в своем частном одиночестве.

Вероятно, фру Могенсен могла бы найти себе работу, устроиться куда-нибудь продавщицей или кассиршей, у нее бы появилось занятие, да и лишний заработок не помешал бы, но муж категорически против. Лавочник в состоянии сам прокормить собственную жену, незачем ей работать на других, к тому же он любит, чтобы горячая еда стояла на столе, когда он возвращается из лавки. У фру Могенсен целых двое мужчин в доме, и каждый вечер они собираются все вместе за

столом, но радости она от них видит мало, что от одного, что от другого, оба одинаково строптивые и угрюмые, молча сидят и жуют, слова от них не дождешься. Фру Могенсен готовит им еду, стелет постели, стирает носки, выдает свежее белье и сорочки, а они и спасибо никогда не скажут и, даже если она их сама о чем-либо спросит, едва достаивают ее ответом. Хенрик последнее время совсем букой стал, поест и сразу уходит к себе в комнату или исчезает из дому, не сказавшись, а лавочник садится перед своим телевизором, как только начинаются передачи, и не отрывается от него весь вечер. Когда он дома, фру Могенсен чувствует себя, пожалуй, еще более одинокой, чем когда его нет, и она не представляет себе, как бы она это вынесла, если б не ее слепой знакомый.

Между фру Могенсен и слепым постепенно сложились какие-то странные взаимоотношения. Они никогда ни о чем не договариваются, но каждый день встречаются в кафетерии в одно и то же время, сидят за одним и тем же столиком и пьют кофе, который приносит фру Могенсен. Ей мало что известно об этом человеке, он не назвал ей даже своего имени и не спрашивал, как ее зовут, она лишь поняла из разговоров с ним, что он не женат и живет где-то неподалеку, вот и все. Нельзя сказать, чтобы это было много, если учесть, что они встречаются каждый день, и тем не менее фру Могенсен кажется, что она давно и хорошо его знает, что они близкие люди, и она заранее радуется каждой встрече, ведь это единственное светлое пятно в ее безотрадной жизни.

Слепой — не совсем обычный человек, он говорит ей странные вещи, он касается ее рукой, чтобы узнать, какое на ней сегодня платье. Он может себе это позволить, потому

что он слепой, и фру Могенсен мало-помалу привыкла и уже не находит в этом ничего удивительного. Они сидят в кафетерии и пьют кофе или же прогуливаются в сквере; иногда, если погода хорошая, они усаживаются на скамейку у пруда и слепой говорит фру Могенсен, что он совершенно уверен, сегодня она прекрасно выглядит, ему так нравится ее платье, он только не знает, какого оно цвета.

— Светло-зеленое,—говорит фру Могенсен, и слепой говорит, что это очень красивый цвет и он ей идет.

Однажды слепой неожиданно спрашивает, не согласится ли она выйти за него замуж. Вид у него вполне серьезный, но фру Могенсен предпочитает принять это за шутку и смеется в ответ на его предложение.

— Я не богат,—говорит слепой,—но и недостатка ни в чем не испытываю, я сумею неплохо вас обеспечить.

Фру Могенсен опять смеется, она никогда толком не понимает, шутит он или говорит всерьез.

— Все бы хорошо, да я ведь замужем,—говорит она.

— И вы счастливы?—спрашивает слепой.

— Не знаю,—отвечает фру Могенсен.

— Раз не знаете, значит, вы несчастливы,—говорит слепой,—выходите лучше за меня.

Фру Могенсен с симпатией относится к слепому, но выходить за него замуж она не хочет. Ей вполне достаточно того, что она может посидеть, поговорить с ним, хотя их разговоры носят какой-то до странности нерепальный характер. У нее часто возникает желание рассказать слепому о своем доме, о муже и переживаемых им трудностях, но это как-то слишком уж не вяжется с тем особым стилем общения, который у них выработался,



и фру Могенсен держит свои трудности при себе, да и что за интерес ее слепому знакомому слушать про них.

Когда слепому становится ясно, что фру Могенсен не выйдет за него замуж, он предлагает ей вместо этого сделаться его любовницей.

— Мы с вами можем встречаться у меня дома, а вашему мужу вовсе не обязательно об этом знать.

Быть может, фру Могенсен в глубине души и не прочь стать любовницей слепого, но она ни на секунду не позволяет себе всерьез отнестись к его предложению. Да он и сам наверняка не вкладывает в него серьезного смысла, и все же его слова вызывают у нее непонятное волнение, хотя она всячески расхолаживает себя: он мог сказать ей такое лишь потому, что слеп и не видит, что она уже почти старуха и вовсе не так привлекательна, как он воображает.

— Нет, это мне ни к чему,— говорит она.

— Откуда вы знаете,—возражает слепой,—вы же никогда не пробовали, сейчас многие заводят любовь на стороне.

— В самом деле?—говорит фру Могенсен.

В другой раз слепой неожиданно предлагает ей отправиться с ним в путешествие, она сама может выбрать маршрут.

— Мне бы очень хотелось опять попутешествовать,—говорит он,—но один я не могу. А вы бы мне помогли, едемте?

— Звучит, конечно, очень заманчиво,—говорит фру Могенсен,—но я не уверена, что это понравится моему мужу.

— Вам нет необходимости рассказывать мужу, что вы едете вместе со мной,—говорит слепой,—вы же можете представить дело так, будто едете одна.

— Боюсь, что это неосуществимо,— говорит фру Могенсен, но ее отказ, пожалуй, не столь категоричен, как в отношении его предыдущих предложений.

— Вы все-таки об этом подумайте,— просит ее слепой.

Он каждый день заводит речь о совместной поездке, и фру Могенсен постепенно втягивается в эту шутливую игру и разговаривает с ним так, как будто они и правда вот-вот отправятся путешествовать. Они решают поехать в Испанию, слепой знает одно местечко вблизи небольшого рыбацкого поселка, где он когда-то останавливался, еще будучи зрячим. Они обсуждают во всех подробностях план путешествия, когда они тронутся в путь да сколько времени там пробудут, словно она уже дала свое согласие. Это странная игра, фру Могенсен вовсе не влюблена в слепого и не верит, чтобы он был в нее влюблен. Она не верит, что он серьезно относится к возможности их совместной поездки, но иногда ее берет сомнение, она не знает, что и думать. Она, конечно, понимает, что, даже если он говорит серьезно, она-то все равно никогда не согласится с ним поехать. Или согласится? У фру Могенсен голова идет кругом, она перестает различать, где игра и где действительность,— быть может, именно поэтому она так и увлечена. Это всего лишь игра, непрерывно твердит она себе, однако это могло бы стать действительностью; благодаря слепому в жизнь ее вошло нечто новое, что наполняет ей душу смутным беспокойством, но в то же время скрашивает ее существование, она не могла бы объяснить почему, но это так. Фру Могенсен не знает, что бы с ней было, если бы она не познакомилась с этим слепым.

И вот однажды он неожиданно объявляет, что больше не придет в кафетерий, потому что уезжает в Ютландию, где будет жить у своей сестры, она обещает за ним ухаживать.

— Но я буду по вас скучать,— говорит он, и фру Могенсен говорит, что она тоже будет по нем скучать и что ей было очень приятно встречаться и разговаривать с ним.

Они идут вместе через сквер по ставшему уже привычным маршруту, но прощаются они буднично, как всегда. Если бы у них оборвался роман, а то ведь никакого романа не было, а было просто случайное знакомство, так что совершенно незачем делать из расставания трагедию.

Фру Могенсен по натуре не сентиментальна, но, когда она на следующий день приходит в кафетерий и вместо поджидающего ее слепого видит пустой стул, ее охватывает тоскливое чувство. Быть может, это даже не тоска о слепом, просто она все время жила с какой-то тоской в душе, но лишь теперь, когда он уехал, отчетливо это ощутила. Не очень-то весело сидеть пить кофе в одиночестве, фру Могенсен замечает, что вблизи освободился игорный автомат — и вот она уже стоит возле него, как неоднократно стаивала прежде. Она кидает в прорезь монету в двадцать пять эре и тянет за ручку — никакого выигрыша, и она без промедления сует следующую монету. Фру Могенсен заталкивает в автомат все новые монеты и дергает за ручку; и вдруг раздается долгожданное бряканье: выпала удачная комбинация — и целых восемь жетончиков насыпалось в лоточек. А это означает, что целых восемь раз можно теперь играть бесплатно; если и дальше так пойдет, то вполне вероятно, что до конца дня она успеет выиграть полный банк.

Редакция последних известий телевидения активно борется с несправедливостью в обществе. Среди населения наблюдается тенденция к ограблению банков: человек подходит к окошечку, целится в кассира авторучкой или игрушечным револьвером и принуждает его выдать всю денежную наличность, причем речь зачастую идет о сумме в пятьдесят тысяч крон, а то и более, а ведь это для банка немалые деньги, поэтому телевидению не нравятся подобные выходы и оно помогает полиции ловить преступников. В последних известиях воспроизводят ситуацию ограбления: вот здесь грабитель поставил свою машину, вот так он стоит и целится в кассира, вот в этом направлении он уехал, вот здесь он бросил автомобиль — уворованную ранее красную малолитражку. Представление выходит весьма правдоподобным, сотрудник телевидения играет роль грабителя, а банковский кассир играет самого себя, выглядит все так, как происходило в действительности, и такая живая передача не может не возыметь действия на зрителей. На следующий день телефоны полиции обрывают люди, которым кажется, что они видели что-то подозрительное, или которые знают владельцев красных малолитражек, а кроме того целых два человека доносят в полицию на самих себя, требуя, чтобы их привлекли к ответственности за ограбление банка. Полиция, правда, быстро находит доказательства того, что они не могли иметь отношения к этому делу, но они продолжают упрямо стоять на своем, — да, да, так велика власть телевидения над людьми, что оно способно даже заставить их сознаться в ограблении, которого они не совершали.

Находятся и такие, кто использует воспроизведенную картину преступления как наглядное руководство по ограблению банков. И так, значит, машину ставят несколько поодаль, натягивают на голову вязаный шлем и угрожают кассиру таким вот образом, а затем делают вот так и вот так,— все это полезно знать на случай, если вдруг окажешься без денег и не сумеешь найти иного способа их раздобыть. Такого рода мысли мелькают в голове у лавочника, пока он смотрит передачу последних известий, он уже дошел до предела и близок к отчаянию, ему необходимо достать денег, а как это сделать, он не знает. Он попробовал переговорить с банком и получил категорический отказ, они больше ничем не могут ему помочь, так что теперь он должен рассчитывать лишь на самого себя. Но, похоже, взять в банке деньги не так уж и трудно, он только что видел по телевизору, как просто можно это устроить, и если получается у других, то, надо полагать, и он справится.

Само собой разумеется, лавочник не думает об этом всерьез, он человек, строго блюдуший законы, и ни на что такое не способен, но все же он не может удержаться, чтобы не поиграть с этой мыслью. Нет, в самом деле, терять ему нечего, зато если операция пройдет успешно, то конец всем его затруднениям. Эта несерьезная идея все более завладевает им, пока он сидит без дела в лавке, не зная, чем себя занять. Большую часть дня ничто не мешает ему предаваться раздумьям, если не считать пленки с «Когда тебя я встретил» и «О тебе мечтаю я», и он все время возвращается к планам ограбления банка. Но ведь такие мысли сами по себе в некотором роде преступны, лавочник начинает страшиться собственных мыслей, как бы он не выдумал чего-

нибудь на свою голову, и, чтобы отвлечься, он звонит Ельбергу, но, конечно, не посвящает его в свои замыслы. Ельберг разговаривает с ним дружелюбно, предлагает звонить без стеснения, как только у него возникнет нужда в собеседнике, но помочь ему он, естественно, не в силах. Однако же Ельберг — единственный, с кем лавочник может хотя бы беседовать по душам, и он иногда звонит Ельбергу, настолько часто, насколько это кажется ему удобным, а тот ничуть не раздражается, скорее, наоборот, ему, должно быть, лестно, что общение с ним так много значит для лавочника, это ведь доказывает важность взятой им на себя миссии. Однажды лавочник отваживается даже позвонить ему домой, в этот день он поздно спохватился, в редакции Ельберга уже нет, но лавочник находит номер его домашнего телефона и звонит. Ему крайне необходимо поговорить, он боится оставаться наедине со своими навязчивыми мыслями; но это с его стороны опрометчивый шаг: дома Ельберг разговаривает совсем иначе, чем на работе, всегдашней любезности нет и в помине. Могенсен должен понять: он, Ельберг, тоже человек и имеет право на личную жизнь, есть же специально отведенное время и надо его придерживаться. У лавочника такое ощущение, словно его окатили с головы до пят холодной водой, он уже успел сжиться с мыслью, что Ельберг — его друг и искренне интересуется его делами, а теперь он узнает, что это только в рабочее время. Удар настолько тяжел, что он вообще не решается больше звонить Ельбергу и чувствует себя еще более одиноким, чем прежде, ведь он потерял единственного человека, который его понимал.

И навязчивые мысли одолевают лавочника с новой силой. Положение его так безнадеж-

но, что он действительно не видит другого выхода, кроме ограбления банка, и в порыве отчаяния он решает привести в исполнение свой план. Он идет в магазин игрушек и выбирает себе револьвер, причем особый упор делает на то, чтобы он был похож на настоящий.

— Это для моего племянника,— объясняет он,— а ему главное, чтобы был похож.

Продавец выкладывает несколько револьверов, и лавочник выбирает один, который, по его мнению, выглядит совсем как взаправдашний.

— Вот этот, по-моему, похож,— говорит он,— это я для внука, а ему подавай, чтобы был похож. Знаете, какие они, эти дети.

О да, продавец отлично знает, какие они, он каждый день имеет дело с детьми, они могут проторчать в магазине целый час, пока выберут какую-нибудь пустяковину за четыре кроны. Он терпеть не может детей, и, если бы не то досадное обстоятельство, что он кормится благодаря детям, он бы их на порог не пускал. Он заворачивает шикарный револьвер в бумагу с изображениями кукол, игрушечных электропоездов и машин и выражает надежду, что внук лавочника останется доволен.

— Племянник,— поправляет его лавочник,— это для моего племянника.

— Вот как, а мне слышалось, вы сказали, для внука. В таком случае, надеюсь, ваш племянник останется доволен, а если нет, можете зайти поменять.

Надо бы, конечно, заодно пойти купить вязаный шлем, но у лавочника духу не хватает, ему представляется, что шлемами пользуются в основном банковские грабители, и он боится, что заранее себя выдаст, если зайдет и

купит себе такой головной убор. Вместо этого он уворовывает у жены нейлоновый чулок, который можно натягивать на голову, а она очень скоро замечает пропажу и не может понять, куда задевался один чулок, дома несколько дней подряд только и разговоров, что об этом потерявшемся чулке, так что у лавочника нервы не выдерживают.

— Ну пропал и пропал, подумаешь, трагедия,— досадливо бурчит он.

— Чулки тоже денег стоят,— возражает ему жена,— а мы, кажется, хотели экономить.

И лавочник мрачно умолкает: воистину нелегко заниматься ограблением банков, когда наталкиваешься на полнейшее непонимание со стороны жены, трясущейся над каждым паршивым чулком.

Ежедневно, возвращаясь домой из магазина, лавочник рыщет по улицам в поисках банка, наилучшим образом приспособленного для предстоящей операции. Какой попало банк и искать нечего, на каждом более или менее крупном перекрестке их обычно штуки по четыре, трудность в том, чтобы решить, на каком из них остановить свой выбор. Лавочник исследует месторасположение, внутреннее устройство и возможности бегства, а на следующий день сидит у себя в лавке, набрасывает планы и делает расчеты. Кроме того, в наиболее тихие часы он репетирует свою роль: натягивает на голову нейлоновый чулок, подходит к письменному столу, который должен изображать кассу, и говорит резким голосом: «Давайте сюда все деньги, быстро. Не вздумайте сопротивляться, буду стрелять». Вроде бы ничего сложного, но лавочнику никак не удается сказать это естественным тоном. В молодости, когда он еще работал продавцом, он выступал в любительском теат-



ре, но артистических способностей у него не оказалось, реплики всегда звучали фальшиво, и его использовали лишь на самых незначительных ролях, где надо было произнести коротенькую фразу либо, к примеру, выйти и отдать письмо. Великий артист в нем, прямо скажем, не пропал, и сейчас, как он ни бьется, все равно не может произнести слова о немедленной выдаче денег сколько-нибудь натуральным тоном. Он пробует снова и снова, но грозное требование звучит до того утомительно, что банковский кассир, услышав эту реплику в его исполнении, катался бы со смеху и был бы попросту не в состоянии дать ему деньги. Увы, лавочнику становится ясно, что он слишком бездарен, чтобы осуществить свой план.

Но ведь грабитель может воспользоваться и другими способами, и лавочник испробует еще один прием. Он пишет на листке бумаги: «У меня в кармане револьвер. Давайте сюда все деньги, иначе я вас застрелю». Но в первый же раз, репетируя новый прием, он достает из кармана вместо нужной записки другую, на которой жена написала ему, чтобы он не забыл принести домой масла, и он с содроганием представляет себе, что произошло бы, случись это в банке. Он оставляет в кармане один только нужный листок и изо дня в день репетирует сцену, как он вынимает его и кладет перед кассиром, причем он так поглощен этим занятием, что однажды чуть не забывает стянуть с головы нейлоновый чулок, когда в магазин заходит покупатель.

И вот наконец лавочнику кажется, что он в совершенстве овладел своей ролью, но тут выявляются другие трудности. А кто же останется за него в магазине, пока он будет

грабить банк? Если попросить жену, она, чего доброго, заподозрит его, услышав потом про ограбление, а если он просто возьмет и закроет на время магазин, то это тоже покажется подозрительным. Да, пожалуй, ограбление банков — не слишком подходящее ремесло для людей, у которых на руках собственный магазин, надо быть свободным в дневное время, а лавочник днем занят. Теперь уж ему совершенно ясно, что он практически не имеет возможности привести в исполнение задуманное, и у него словно гора сваливается с плеч. В глубине души он, вероятно, все время сознавал, что не способен провести такую операцию, но все же приятно, когда можно сослаться на уважительную причину; ведь в самом деле, и дураку понятно: не может же он находиться одновременно в двух различных местах. Он еще изредка возвращается к мысли об ограблении банка, но относится к ней все менее серьезно и наконец однажды решительно ставит крест на этих планах. Он рвет записку с обращением к кассиру на мелкие клочки и отдает револьвер случайному мальчишке, зашедшему к нему в магазин. Тот ног под собой не чует от радости, бывают же такие добрые лавочники, которые ни за что ни про что дарят покупателям шикарные револьверы; и он, по-видимому, рассказывает приятелям о привалившем ему счастье, потому что все следующие дни у лавочника отбоя нет от малолетних покупателей, то и дело забегающих взять немножко карамели или леденцов. Не получив револьвера в придачу к конфетам, они уходят разобиженные, и можно себе представить, как достается их товарищу за то, что он их надул. Видеть в магазине покупателей приятно, но от этой ребятни толку мало, и выручка по-прежнему не покрыв-

вает затрат. Отказавшись от планов ограбления банка, лавочник приходит к выводу, что остался лишь один способ раздобыть деньги, но он не может воспользоваться им, не посоветовавшись предварительно с женой. Ему очень трудно собраться с силами, чтобы с ней поговорить, он каждый вечер решает, что сделает это сегодня, а потом опять откладывает, но как-то раз перед уходом из магазина он выпивает одну за другой три бутылки пива, а придя домой, добавляет четвертую и, была не была, приступает к делу, раскрывает перед женой карты и рассказывает ей о денежных затруднениях.

— И я подумал, а может, нам продать свою дачу?— Ну, слава богу, вот он и сказал.

— Дачу,—повторяет жена, глядя на него,—ты хочешь продать нашу дачу?

— Все равно мы теперь редко ею пользуемся,—говорит лавочник.

И это правда, прошло то время, когда они ездили туда каждую неделю, почему-то они перестали там бывать, а дальше им и подавно будет трудно сниматься с места.

Лавочник ждет, что ответит жена, но она ничего не говорит, просто сидит и смотрит на него, будто смысл его слов до нее не дошел.

— Как ты считаешь?—спрашивает лавочник.—Я, конечно, не собираюсь продавать, если ты против.

Жена его сидит какое-то время молча, кажется, что она думает сразу о многом и никак не может собрать свои мысли.

— Делай как знаешь,—говорит она наконец.

И только. Лавочник надеялся, что она его поддержит, что она его поймет, но она предлагает решать ему самому, вот так-то, и,

стало быть, он один будет в ответе, если они лишатся своей дачи, которую когда-то так любили и вполне могут опять полюбить. Он еще надеется, что она все-таки что-нибудь добавит, но она вдруг поднимается и уходит в кухню, и лавочник остается один и чувствует себя жалким и несчастным. Ему хочется встать, пойти к жене и сказать, что он передумал, они оставят дачу себе, он найдет какой-нибудь выход, но это невозможно. Никакого другого выхода нет: дача — или банк, а лавочник знает, что грабитель из него все равно не получится.

## 19

На курсах начали обращать внимание на слишком частое отсутствие Хенрика, ему уже трудно каждый раз придумывать новые причины своих пропусков. И то сказать, сколько болезней может быть у одного человека, а Хенрик за последнее время перенес немыслимое количество болезней. Но дальше так продолжаться не может, он все сильнее отстает от остальных, а у них уже скоро начнутся проверочные опросы и контрольные работы за первый квартал, и он понимает: если сейчас не взяться за дело всерьез, провал ему обеспечен. Хенрик решает покончить со своим разгильдяйством, начинает ходить на курсы каждый день, но многочисленные прогулы дают себя знать, он с ужасом обнаруживает, что остальные ушли за это время далеко вперед и он не в состоянии следить за происходящим на уроках, потому что представления не имеет обо всем том, чем они сейчас занимаются. Хенрик пытается слушать внимательно и проявлять активность, но он безнадежно отстал и непрерывно попадает впросак на потеху всему

классу. И мало-помалу он снова погружается в привычную апатию, уроки тянутся бесконечно долго, а Хенрик полудремлет или же рисует голых девиц, но и это его уже не увлекает, и он тупо и безучастно отсиживает положенные часы, довольствуясь тем, что изредка взглядывает на Сусанну, с которой он теперь никогда не разговаривает.

Но нет, так дело не пойдет, и Хенрик прекрасно это понимает. Квартальные зачеты приближаются с неумолимой быстротой, при одной мысли о них Хенрик испытывает панический страх, и этот-то страх становится силой, принуждающей его взять себя в руки. Он не может допустить провала, он знает, если он сейчас срежется, ему рассчитывать не на что, абсолютно не на что, он должен вытянуть и он вытянет, иначе ему конец. У него такое чувство, будто вся его жизнь поставлена на карту, не может быть, чтобы он не успел подготовиться, еще не поздно, он сумеет наверстать упущенное и нагнать остальных, если очень постарается и все подчинит этой цели.

И для Хенрика опять начинается совершенно новая жизнь. Каждый день, возвратившись с курсов, он, не теряя времени, садится за письменный стол и принимается за занятия. Он начинает буквально с азов, прорабатывает все то, что ему давно положено знать, но что прошло мимо него, потому что он спал на уроках или гулял в зоопарке. Это почти непосильная задача, столько у него накопилось прорех, во многом он не в состоянии самостоятельно разобраться, так что иногда у него руки опускаются. Но он не хочет сдаваться, он не отступает, Хенрик умеет быть настойчивым, когда ему приспичит, и он отмечает все непонятные места, а вечером

идет к Енсу и Гитте и просит их помочь. Ему неприятно к ним обращаться, он знает, они будут поддразнивать его за то, что он до сих пор не знает таких простых вещей, но лучше уж пройти через это унижение, чем провалиться, и он, отбросив всякий стыд, задает вопросы и пропускает мимо ушей их насмешливые замечания.

— Похоже, ты не слишком надрывался,— говорят они, или:

— Это мы в первом классе проходили.

Пусть, они же просто так болтают, лишь бы помогли ему разобраться. Хотя они и подшучивают над ним, но помогают всегда охотно и безотказно, терпеливо объясняют все непонятное, и после этого Хенрик идет к себе и продолжает заниматься. Он сидит до поздней ночи, а утром никак не может проснуться, он побледнел и потерял аппетит, зачеты уже на носу, а у него все еще множество пробелов.

Но однажды утром Хенрик просыпается совсем больной. Он чувствует это, еще не поднявшись с постели, но все же через силу встает, ему нельзя пропускать уроки. Однако ноги его не держат, пол под ним начинает качаться, он едва не теряет сознание, и ему приходится снова лечь. Температура у него поднимается до сорока градусов, самочувствие ужасное, мать вызывает врача, и тот ставит диагноз: тяжелый грипп, возможно, в сочетании с переутомлением. Звучит это довольно-таки невероятно — чтобы Хенрик доработался до переутомления! Но мать подтверждает, что он каждый день занимается до глубокой ночи, и врач говорит, что такие вещи даром не проходят, рано или поздно они сказываются, во всяком случае, теперь Хенрику придется соблюдать строгий постельный

режим и не вставать, пока не спадет температура.

Хенрик последнее время слишком часто разыгрывал из себя больного, а теперь судьба обрушила на него свой удар и он действительно заболел. Что ж, с каждым может случиться, но для него болезнь сейчас — настоящая катастрофа, ему еще столько нужно успеть, каждый день на вес золота. Он пробует заниматься в постели, берет учебники, но это безнадежно, все плывет у него перед глазами, и он откладывает книги и погружается в горячее полузабытье. Несколько дней температура продолжает держаться, Хенрик мечется в постели, то обливается потом, то трясется в ознобе, его мучают странные видения и кошмары, которые повторяются вновь и вновь. Какие-то экзамены, вопросы, на которые он не может ответить, а в промежутках возникает Сусанна, она голая и убегает от Хенрика, но он гонится за ней и настигает, и тогда она протягивает ему листок бумаги, и Хенрик читает, что в нем написано, — это задача, и вот он уже опять сдает экзамен. В таком состоянии он валяется неделю, затем температура начинает спадать, но проходит еще неделя, прежде чем она опускается до нормы и ему наконец разрешают понемногу вставать с постели, — в результате он потерял массу драгоценного времени, которое ничем не возместишь.

Чувствует он себя скверно, слабость не дает ему долго оставаться на ногах, приходится часто ложиться отдыхать, тем не менее через два дня он отправляется на курсы. Хенрик бледен, у него кружится голова, а одноклассники смеются над ним и спрашивают, где это он так долго пропадал, прабабушка у него умерла или еще что-нибудь стряслось. Но ему

не до смеха, он потерял почти три недели, которые могут оказаться решающими для его будущего.

И вот наступает пора зачетов, и все начинается с контрольной по математике, и первую же задачу Хенрик бросает, даже не пытаясь ее решить, потому что не знает, как к ней подступиться. Обстановка в классе какая-то зловещая: каждый сидит за отдельным столом, и между столами порядочное расстояние, чтобы нельзя было переговариваться и подглядывать, а если кому-нибудь надо в туалет, то он идет не один, а с провожатым. Такая обстановка совсем не располагает к спокойной работе, Хенрик нервничает, он чувствует, что в задачах, которые он вроде бы решил, что-то не так: то у него не разделилось без остатка, то ответ выглядит очень уж странно. Он выписывает все ответы на бумажку, а когда затем сверяет их с результатами, которые получились у остальных, то они не сходятся ни для одной задачи, и, разумеется, можно предположить, что он — единственный, кто правильно решил, но ему все же не верится.

Дальше дела у него идут с переменным успехом, и он попеременно то полон оптимизма, то впадает в отчаяние, но, когда все зачеты остаются позади, он почти не сомневается, что ему грозит отчисление. Однако в самой глубине его души вопреки всему теплится надежда: быть может, результаты не настолько плохи, как он себе представляет, и он все же с грехом пополам проскочит; но по мере того, как время идет, надежда становится все слабее и под конец совсем угасает. Тем не менее, когда комиссия объявляет ему свое решение и он узнает, что отчислен, это для него страшный удар.



Хенрик провалился, все его усилия были напрасны,—едва сдерживая слезы, он бормочет что-то насчет своей болезни, но в ответ ему только улыбаются, действительно, они уже и сами заметили, что со здоровьем у него неблагополучно, но ничего не поделаешь, придется ему в будущем году начать все сначала, а сейчас, если у него есть желание, он может, пожалуйста, до конца года продолжать ходить на уроки в свой класс.

Хенрик точно оглушен случившимся, он не может сейчас идти домой и слоняется по улицам как неприкаянный. Он не знает, как он сообщит об этом родителям, отец, конечно, придет в ярость и, скорее всего, не позволит ему еще раз попытаться счастья в будущем году. А что скажут Енс и Гитте — Хенрик теперь не посмеет взглянуть им в глаза. Он все бродит и бродит, все думает и думает в бессильном отчаянии, ах, как бы он хотел повернуть время вспять и начать все сначала, он бы повел себя совсем по-другому, он бы старался изо всех сил — если б только можно было все переиграть. Он пытается убедить себя в том, что не виноват в своей неудаче, ведь он же болел и сильно отстал, он даже к зачетам не успел как следует выздороветь. Обстоятельства сложились так неблагоприятно, что бессмысленно было на что-то надеяться, говорит он себе, но в то же время он понимает, что это не вся правда.

Одно он знает совершенно определенно: ноги его больше не будет на курсах в этом году. Очень надо сидеть в классе, к которому он больше не имеет отношения, да вдобавок когда всем известно, что он провалился. Он вспоминает Сусанну, видаться с ней после этого — нет, он не вынесет такого унижения; вообще-то его бы не должно волновать ее

мнение, кто она ему — просто одноклассница, как все другие, но Хенрик не способен так относиться к Сусанне, был день, когда она стала для него больше, чем просто одноклассницей, и он не может этого забыть.

Неожиданно Хенрик замечает, что стоит перед домом, где живет Пер — единственный человек, которому он в своем теперешнем положении может спокойно смотреть в глаза: Пер не станет ни насмехаться, ни укорять. Расскажи ему Хенрик о том, что случилось, Пер счел бы все происшедшее сущим пустяком, не заслуживающим внимания. Хенрик чувствует непреодолимое желание повидать Пера, просто посидеть рядом, перекинуться несколькими словами, но он вспоминает кошмарную мансарду, и какой-то внутренний голос шепчет ему, что лучше держаться отсюда подальше. Он хочет уйти, потом останавливается в нерешительности, и кончается тем, что он все же начинает подниматься вверх по лестнице: в том положении, в каком он очутился, ему некуда больше податься, нет больше ни одного места, куда он мог бы сейчас пойти.

## 20

Лавочник продал свою дачу, что ж, это обычная история. Люди приобретают летний домик, а потом он им надоедает и становится ни к чему, и они его продают, причем выручают за него, как правило, значительно больше, чем в свое время заплатили. Очень даже неплохое дело — вкладывать деньги в недвижимое имущество, и лавочник умно распорядился средствами, купив себе дачу в ту пору, когда они еще продавались по доступной цене. Стоимость дома росла из года в год, и в итоге

он нажил капитал, который теперь сможет использовать для своего магазина,— он был предусмотрителен и дальновиден и теперь пожинает плоды.

Лавочник продал дачу со всей обстановкой и прочим имуществом, осталось только съездить привезти кое-какие личные вещи, которые не переходят к новому владельцу. Он отправляется туда один, жена не захотела с ним ехать, да в этом, собственно, и нет особой нужды, он и без нее вполне справится. Он решил там переночевать и вернуться домой на следующее утро, не хочется делать два таких конца в один день, говорит он жене, и спешить тогда не придется, можно будет все спокойно успеть.

Непривычно быть на даче одному, он ни разу не приезжал сюда без жены, в доме так пусто и неуютно. Они всегда бывали здесь вдвоем, а когда Хенрик был помладше, то и его с собой брали. Пока Хенрик был маленький, он любил ездить на дачу, с удовольствием играл в саду и мог целый день провести на пляже, копаясь в песке и барахтаясь в море. Когда он подрос, у него пропал интерес к даче, он скучал, если они брали его с собой на субботу и воскресенье, а в последние годы его невозможно было сюда затащить. Во всяком случае, ради Хенрика не было смысла оставлять себе этот домик.

Хенрик... нет, лучше о нем не вспоминать, у лавочника настроение портится, когда он думает о сыне. С некоторых пор с ним творится что-то непонятное. Он стал ни с того ни с сего исчезать из дому на несколько дней, а когда вновь появлялся, то ходил угрюмый и молчаливый, не подступишься. Кончалось почти всегда скандалом, после которого он опять надолго исчезал, а они не знали, где он и что с

ним. Лавочник беспокоился, как бы он не впутался в какую-нибудь историю, и, когда он в очередной раз появлялся дома, требовал от него объяснений, где он пропадает: живешь с родителями — изволь докладывать, чем занимаешься и где проводишь время, что за безобразие исчезать молчком! Но Хенрик не желал ничего объяснять, бормотал только что-то насчет друзей, у которых он живет, а что это за друзья и где они живут, вытянуть из него было невозможно, и это навело лавочника на подозрения, он хотел знать, в какую такую историю впутался Хенрик.

— Ты что, куришь гашиш или еще какую-нибудь дрянь? — спросил он.

Но Хенрик ничего не ответил, стоял и молчал с упрямым видом, и это вывело лавочника из себя.

— Так вот, имей в виду, — сказал он, — если ты принимаешь наркотики или что-нибудь в этом роде, в моем доме тебе делать нечего!

Хенрик и на это ничего не ответил, повернулся и ушел к себе в комнату, а лавочника трясло от возмущения, он так и не понял, стал уже Хенрик наркоманом или нет. В тот же вечер Хенрик исчез, опять молчком, даже не простившись, просто ушел и все, и с тех пор больше не появляется. Они обнаружили, что он взял кое-что из своих вещей, совсем немного, большая часть осталась дома. Повидимому, он переселился куда-то насовсем, не сказав им ни слова, и теперь они понятия не имеют, где его искать. Фру Могенсен тяжело переживает это, ходит убитая и молчит, но лавочник чувствует, что она считает его виноватым в исчезновении Хенрика. Да ладно, никуда он не денется, Хенрик, проголодается — сразу домой прибежит, и все равно ведь не заставишь детей до самой старости жить с

родителями, а уж если он наркоманом стал, и подавно нечего о нем горевать. Лавочник не намерен терпеть у себя в доме такого слизняка-наркомана, газеты про них все уши прожужжали, и его бесит, что общество тратит такую уйму денег на лечение этих хлюпиков, которым просто нравится бездельничать. Если Хенрик в самом деле до этого докатился, пусть выкручивается как знает. Так лавочник и говорит жене, а она только всхлипывает и повторяет, что он ведь им все-таки родной сын, вообще же она теперь почти совсем не разговаривает с мужем, будто это он один виноват во всех их несчастьях. И на дачу с ним поехать не захотела, в последний раз, чтобы закончить все дела,—неприятно ей видеть их домик теперь, когда он им больше не принадлежит, так она ему сказала. Это чтобы он как следует прочувствовал, как он неправильно поступил, продав дачу. Все ложится на его плечи, а помощи ждать не от кого, и, что бы ни случилось, всю вину валят на него, ему уже просто жить не вмоготу, может, тоже в наркоманы податься, глядишь, со всех сторон бросятся помогать да опекать, пособие дадут, и делать ничего не надо будет—такие ведь нынче порядки. Да уж, общество, в котором он живет, прогнило, и если не наступят решающие перемены, то добром это не кончится. Лавочник не ратует за тоталитарный режим, он тоже демократ не хуже других, однако более твердая рука, пожалуй, не помешала бы, чтобы в стране опять воцарились закон и порядок.

В доме сыро, лавочник включил электрообогреватели, но в это время года помещение прогреется не скоро. Он одевается и выходит в сад, здесь холодно и ветрено, но все же приятней, чем в отсыревшем доме. Он бродит

по участку, обламывает на деревьях засохшие ветки и кидает их в мусорную кучу, вообще говоря, это теперь не его забота, но он так привык ухаживать за садом, что трудно удержаться. Он подходит по очереди к каждому дереву и к каждому кусту и осматривает их, словно прощаясь, ему просто хочется удостовериться, что они по-прежнему в хорошем состоянии и нормально растут. Ведь многие из этих деревьев он посадил собственными руками, вон как эта березка вымахала, они ее, помнится, привезли когда-то в коляске Хенрика, тоненький, слабый росток, а сейчас в ней никак не меньше десяти метров в высоту. Да, росточек лежал в коляске сына, а теперь сын уже, можно считать, взрослый и вот исчез куда-то из дому и, не дай бог, впутался во что-то дурное, а сам лавочник пожилой человек. Время все-таки странная вещь, люди не перестают удивляться, что оно бежит и что все меняется, хотя так ведь всегда было и всегда будет.

Лавочник спускается через посадки к берегу, сейчас такому пустынному и заброшенному. А летом здесь народу видимо-невидимо, полуголые люди валяются на песке, переворачиваясь с боку на бок и с живота на спину в соответствии с хитроумной системой, обеспечивающей всему телу стопроцентный и равномерный загар, или же с разгону бултыхаются в воду и плещутся там с веселыми криками, или играют в мяч, по-детски беспечно прыгая и радуясь,— трудно поверить, что в обычной жизни это чиновники, адвокаты и преподаватели, солидные люди, выполняющие ответственную работу. Сейчас лавочник один на всем пляже, с моря дует холодный ветер, волны бьются о берег, а он бредет вдоль кромки воды, придерживая рукой шляпу, что-

бы не слетела. Он подбирает плоский камешек и пробует запустить блин, он разглядывает выброшенный на берег обломок и поддевает ногой мертвую чайку. Лишь шум прибора нарушает гнетущую тишину, от которой ему становится не по себе, и он, зябко передернув плечами, поворачивает обратно. На дворе почти уже смерклось, когда он подходит к дому, но в комнатах стало тепло, электрические печки — незаменимая вещь на даче, они прекрасно прогревают помещение даже в самую холодную погоду. Когда они купили дачу, здесь еще не было электричества, они пользовались керосиновыми лампами, а в прохладные дни топили голландскую печь. Теперь у них есть и электричество, и душ, и горячая вода. Таков естественный ход развития, запросы непрерывно растут, вечно топтаться на месте невозможно. Жизнь идет своим чередом: покупаешь себе дачу, оборудуешь ее, деревья вырастают, дети становятся взрослыми, сам стареешь, а потом в один прекрасный день продаешь свой домик — и все, и прошлого не воротишь. Так уж ведется, и незачем по этому поводу впадать в сентиментальность.

Лавочник проголодался, он захватил с собой банку мясных консервов и теперь разогревает ее и ставит на стол вместе с бутылкой пива. Мясо внутри не прогрелось, но ему не хочется снова идти на кухню, и он ест полухолодные консервы, запивая их пивом, это его последний ужин на даче. Потом он открывает еще бутылку и долго сидит, потягивая пиво, телевизора у него сегодня нет, но он находит старые журналы и листает их, то и дело натываясь на заметки и рассказы про королевский двор, про принцесс, артистов и преуспевающих людей, у которых много де-

нег. Журналы не скупятся на сведения о том, сколько стоит их автомобиль и во что обошлась им новая вилла, и эта информация должна вызывать у читателей не досаду, а, наоборот, восхищение людьми, которые утопают в деньгах и роскоши, ведь каждый волен нажить себе богатство, взяв их за образец для подражания.

Лавочник рано ложится спать, но ему никак не уснуть. Постель отсырела, он поплотнее закутывается в перину, лежит, прислушиваясь к хорошо знакомому шуму деревьев в саду, и думает о том, что сегодня он в первый раз ночует здесь один и в последний раз вообще здесь ночует. Жена отказалась с ним поехать, ей слишком тяжело расставание с этим домом. Она теперь совсем с ним не разговаривает, все делает молча, и вид у нее не то огорченный, не то обиженный. Хенрик исчез, и они не знают, где он сейчас. А сам он лежит в отсырелой постели и не может отвязаться от тяжких дум. Что-то такое у него разладилось, сломалось, в какой-то момент жизнь дала трещину, и он не знает, как ее теперь исправить. Он вспоминает преуспевающих людей, про которых пишут в журналах, вспоминает собственный девиз: каждый сам кузнец своего счастья. И с горечью думает, что, видимо, он был не слишком искусным кузнецом.

## 21

Хенрик добровольно вычеркнул себя из общества. Он не хочет больше вместе со всеми жить в вечной суете и гонке, он вышел из игры. Человек не должен становиться рабом материальных благ или карьеры, ведь, чтобы существовать, нужно в действительно-



сти совсем немного. В жизни есть и другие ценности. Он сидит на матрасе и время от времени перекидывается несколькими словами с Пером или с кем-нибудь из остальных, которые то появляются, то опять куда-то исчезают, и никто от него ничего не требует, никто его не понукает, никто не подшучивает и не иронизирует. Когда-нибудь их отсюда выселят, но они найдут себе другое место, какое это имеет значение, они живут — вот что главное, а о завтрашнем дне они будут думать, когда он придет. Ничего значительного с Хенриком не происходит, но это ему и не нужно, ему и так очень хорошо, он здесь свой, его признают, и, кажется, впервые он испытывает от жизни такое удовлетворение.

Фру Могенсен играет, это как дьявольское наваждение, и избавиться от него она не в силах. Она пробует не поддаваться соблазну, каждый день решает, что все, конец, но, как только она приберется в квартире, ноги сами несут ее в кафетерий, вопреки всем благим намерениям, и она опять предается своей порочной и бесплодной страсти: сует и сует в автомат монетки по двадцать пять эре. Ей самой непонятно, зачем она играет, ведь никакой выигрыш невозможен в принципе, тем не менее она продолжает играть. Быть может, она просто жаждет удачи, удачи как таковой, той самой удачи, без которой ни один человек не в состоянии жить, но которая так неравномерно и несправедливо поделена между людьми. Ни один человек не в состоянии жить, не выигрывая хотя бы изредка банк удачи, ну а если он не дается в руки иным путем, всегда остается возможность купить его за двадцать пять эре. Это, конечно, всего лишь суррогат, и фру Могенсен не может этого не чувствовать, но что поделаешь, есть

люди, которым всю жизнь суждено довольствоваться одними суррогатами.

Лавочник сидит у себя в магазине, где из репродукторов льются песенки «Когда тебя я встретил», «О тебе мечтаю я» и «Панталончики любимые мои». Он мог бы теперь позволить себе заменить старые пленки новыми, но он уже не слышит эти мелодии, он их попросту не замечает. Он получил временную передышку, покамест можно не думать о векселях и банках, это успокаивает, вселяет надежды и придает сил. Он говорит себе, что теперь-то уж торговля у него наладится, настал наконец переломный момент и все опять придет в норму. Он уже немолод, и за плечами немало трудностей и невзгод, но ему еще рано себя хоронить, он пока не вышел в тираж и сумеет с пользой прожить оставшиеся годы. У него есть магазин, в котором он всегда видел основной смысл своего существования. Лишись он своей торговли—на этом бы кончилась вся его жизнь. Какой-то период положение было угрожающим, но он сумел поправить дела и сохранить свой магазин. Есть у него и другие беды, которые он пока не одолел, на все сразу сил не хватает. С главной трудностью он справился, а со временем и все остальное устроится. Так он думает. Он не понимает, что время его прошло, и все еще верит в свое будущее. Но наш торговец—всего лишь маленький человек, у таких, как он, будущего нет.

**Финн Сэборг**  
**СВОБОДНЫЙ ТОРГОВЕЦ**

**ИБ 2380**

*Художник А. С. Зайцев*  
*Художественный редактор А. П. Купцов*  
*Технические редакторы Г. Б. Кочеткова,*  
*И. И. Володина*

*Корректор С. А. Галкина*

Сдано в набор 23.11.1976 г. Подписано в печать 9.03.1977 г.

Формат 70×90 1/32 Бумага офсетная № 1

Условн. печ. л. 7,31 Уч.-изд. л. 7,87

Тираж 50000 экз. Заказ № 714

Цена 85 коп. Изд. № 22098

Издательство «Прогресс» Государственного комитета  
Совета Министров СССР по делам издательств, поли-  
графии и книжной торговли. Москва 119021, Zubovskiy  
бульвар, 21

Набор сделан в ордена Октябрьской Революции и  
ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцо-  
вой типографии им. А.А. Жданова Союзполиграфпрома  
при Государственном комитете Совета Министров СССР  
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

Москва, М-54, Валуевая, 28

Отпечатано Можайским полиграфкомбинатом „Союзполи-  
графпрома“ при Государственном комитете Совета  
Министров СССР по делам издательств, полиграфии  
и книжной торговли г. Можайск, ул. Мира, 93

